



ГЮСТАВ

ФЛОБЕР

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Гюстав Флобер
Воспитание чувств

«Издательство АСТ»

1869

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Флобер Г.

Воспитание чувств / Г. Флобер — «Издательство АСТ»,
1869 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-146229-1

История обретения жизненной мудрости жестоким путем постепенной утраты всех и всяческих иллюзий – одна из любимых тем французской литературы психологического реализма. Однако мало кому удавалось прописать эту тему так же глубоко, умно и иронично, как сделал это Флобер в своем блистательном романе «Воспитание чувств». Молодому Фредерику Моро, мечтающему стать писателем и тайно и безнадежно влюбленному в замужнюю (и хранящую верность не заслуживающему этого подлецу мужу) красавицу мадам Арну, предстоит пройти долгий и нелегкий путь от юношеского идеализма, чистоты и наивности к холодному пониманию, как в действительности устроен этот мир, – причем жизненный опыт станет горьким не только для него, но и для немалого числа женщин, имевших несчастье подарить ему сердце... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-146229-1

© Флобер Г., 1869
© Издательство АСТ, 1869

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	12
III	16
IV	21
V	35
VI	59
Часть вторая	65
I	65
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Гюстав Флобер

Воспитание чувств

Gustave Flaubert
L'éducation sentimentale

© Перевод. А. Федоров, наследники, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Часть первая

I

Около шести часов утра 15 сентября 1840 года пароход «Город Монтеро», готовый отчалить от набережной Святого Бернара, выпускал густые клубы дыма.

Спешили запыхавшиеся люди; бочки, канаты, бельевые корзины загораживали дорогу; матросы никому не отвечали; все толкались; в проходе около машин горой лежали тюки, шум сливался с гудением пара; вырываясь через отверстия в обшивке труб, он все заволакивал белесоватой пеленой, а колокол на баке, не переставая, звонил.

Наконец судно отвалило, и берега, застроенные складами, верфями и мастерскими, медленно потянулись, разворачиваясь, точно две широкие ленты.

Молодой человек лет восемнадцати с длинными волосами неподвижно стоял около штурвала, держа под мышкой альбом. Сквозь мглу он всматривался в колокольни, в неизвестные ему здания; потом в последний раз обвел глазами остров Святого Людовика, Старый город, собор Богоматери и, наконец, глубоко вздохнул: Париж исчезал из глаз.

Фредерик Моро, недавно получивший диплом бакалавра, возвращался в Ножан-на-Сене, где ему предстояло томиться целых два месяца, прежде чем он уедет «изучать право». Мать, снабдив сына необходимой суммой денег, отправила его в Гавр – навестить дядю, который, как она надеялась, мог оставить ему наследство. Фредерик приехал оттуда только накануне и, не имея возможности задержаться в столице, вознаграждал себя тем, что возвращался домой самым длинным путем.

Суматоха улеглась; все разошлись по своим местам; кое-кто стоя грелся у машины; а труба с медленным ритмическим хрипением выбрасывала дым, поднимавшийся черным султаном; по ее медным частям стекали капельки воды; палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения; колеса, быстро вращаясь, разбрасывали брызги.

Река была окаймлена песчаными отмелями. По пути встречались то плоты, качавшиеся на волнах от парохода, то какая-нибудь лодка без парусов, а в ней – человек, удививший рыбу; вскоре зыбкая мгла рассеялась, показалось солнце, холм, возвышавшийся на правом берегу Сены, стал постепенно понижаться, а на противоположном берегу, еще ближе к реке, появился новый холм.

Он увенчан был деревьями, среди них мелькали приземистые домики с крышами в итальянском вкусе. По склону спускались сады, отделенные друг от друга новенькими оградами, виднелись железные решетки, газоны, теплицы и вазы с геранью, симметрично расставленные на перилах, на которые можно было облокотиться. Не один путешественник, завидев эти нарядные приюты отдохновения, жалел, что не он их владелец, и рад был бы прожить здесь до конца своих дней с хорошим бильярдом, лодкой, подругой или каким-нибудь иным предметом мечтаний. Удовольствие, которое испытывали совершавшие первый раз путешествие по воде, способствовало сердечным излияниям. Шутники начинали балагурить. Неслись песни. Было весело. Кое-кто уже приложился к рюмке.

Фредерик думал о комнате, в которой ему предстояло жить, о плане драмы, о сюжетах для картин, о будущих увлечениях. Он находил, что счастье медлит вознаградить его совершенства. Он декламировал про себя грустные стихи; нетерпеливо расхаживал по палубе; дошел до конца ее, где висел колокол, и здесь, среди пассажиров и матросов, увидел господина, который развлекал комплиментами крестьянку и вертел золотой крестик, висевший у нее на груди. Мужчина был весельчак, курчавый, лет сорока. Коренастую фигуру его плотно облегла черная бархатная куртка, на манжетах батистовой сорочки сверкали две изумрудные запонки, а

из-под широких белых панталон видны были какие-то необыкновенные сапоги из красного сафьяна с синими узорами.

Его не смутило присутствие Фредерика. Он несколько раз к нему оборачивался и подмигивал, словно хотел с ним заговорить; потом угостил сигарами всех стоявших вокруг. Но, соскучившись, видимо, в этой компании, вскоре отошел. Фредерик последовал за ним.

Вначале разговор касался различных сортов табака, потом самым естественным образом перешел на женщин. Господин в красных сапогах дал молодому человеку несколько советов; он развивал теории, рассказывал анекдоты, ссылаясь на собственный опыт и вел свой развращающий рассказ отеческим, забавно простодушным тоном.

Он называл себя республиканцем; он много путешествовал, был знаком с закулисной жизнью театров, ресторанов, газет и со всеми знаменитыми артистами, которых фамильярно называл по имени; Фредерик вскоре поделился с ним своими планами; он их одобрил.

Но, внезапно прервав разговор, взглянул на трубу парохода, потом, что-то бормоча, стал производить вычисления, дабы узнать, «сколько всего получится ударов, если поршень делает их столько-то в минуту», и т. д. А когда цифра была определена, начал восхищаться пейзажем. По его словам, он был счастлив, что теперь отдыхает от всяких дел.

Фредерик невольно почувствовал уважение к нему и не устоял против желания узнать, как зовут собеседника. Тот ответил, не переводя дыхания:

– Жак Арну, владелец «Художественной промышленности» на бульваре Монмартр.

Слуга в фуражке с золотым галуном, подойдя к нему, сказал:

– Не пройдет ли вниз, сударь? Мадемуазель плачет.

И удалился.

В «Художественной промышленности», предприятии смешанном, объединялись газета, посвященная живописи, и лавка, где торговали картинами. Это название Фредерику неоднократно приходилось читать в родном городе на огромных объявлениях у книготорговца, где имя Жака Арну занимало видное место.

Солнце стояло над самой головой, в его лучах сверкали железные скрепы мачт, металлическая обшивка судна и поверхность воды; от носа парохода расходились две борозды, тянувшиеся до самых лугов. При каждом повороте реки взгляд вновь встречал все те же ряды серебристых тополей. Берега были безлюдны. В небе застыли белые облачка; разлитая повсюду скука, казалось, замедляла движение парохода и придавала путешественникам еще более невзрачный вид.

За исключением нескольких буржуа, ехавших в первом классе, все это были рабочие и лавочники с женами и детьми. В ту пору принято было похуже одеваться в дорогу, поэтому почти все были в каких-то старых шапках или вылинявших шляпах, в обтрепанных черных фраках, истершихся за канцелярскими столами, или же в сюртуках, так долго служивших их владельцам за прилавком магазина, что прорвалась вся материя на пуговицах; кое у кого под жилетом с отворотами виднелась коленкоровая рубашка, забрызганная кофе; галстуки, превратившиеся в тряпки, были заколоты булавками из накладного золота; матерчатые туфли придерживались штрипками. Какие-то подозрительные личности с бамбуковыми тростями на кожаных петлях оглядывались по сторонам, отцы семейств тарасили глаза и приставали ко всем с вопросами. Одни разговаривали стоя, другие – присев на свои пожитки; некоторые спали, забившись в угол; кое-кто занялся едой. На палубе валялись ореховая скорлупа, окурки сигар, кожура от груш, обрезки колбасы, принесенной в бумаге; три столяра, одетых в блузы, не отходили от буфетной стойки; арфист в лохмотьях отдыхал, облокотившись на свой инструмент; по временам слышно было, как в топку бросают уголь, раздавались возгласы, смех; а капитан все время шагал по мостику от одного кожуха к другому. Чтобы пройти к своему месту, Фредерик толкнул дверцу в первый класс, потревожив двух охотников с собаками.

И словно видение предстало ему.

Она сидела посередине скамейки одна; по крайней мере, он больше никого не заметил, ослепленный сиянием ее глаз. Как раз когда он проходил, она подняла голову; он невольно склонился и только потом, когда сам занял место несколько дальше, с той же стороны, что и она, стал смотреть на нее.

На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развевавшимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь длинных бровей, и, словно ласковыми ладонями, сжимали ее овальное лицо. Платье из светлой кисеи с мушками ложилось пышными складками. Она что-то вышивала; ее прямой нос, ее подбородок, вся ее фигура вырисовывались на фоне голубого неба.

Она продолжала сидеть все в той же позе, а он несколько раз прошелся взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, потом остановился возле скамейки, к которой был прислонен ее зонтик, и притворился, будто следит за лодкой на реке.

Никогда не видел он такой восхитительной смуглой кожи, такого чарующего стана, таких тонких пальцев, просвечивавших на солнце. На ее рабочую корзинку он глядел с изумлением, словно на что-то необыкновенное. Как ее зовут, откуда она, что у нее в прошлом? Ему хотелось увидеть обстановку ее комнаты, все платья, которые она когда-либо надевала, людей, с которыми она знакома; даже стремление обладать ею исчезало перед желанием более глубоким, перед мучительным любопытством, которому не было предела.

Прошла негритянка в косынке, ведя за руку довольно большую девочку. Ребенок только что проснулся и был весь в слезах. Она посадила девочку к себе на колени. «Девушка плохо себя ведет, а ведь ей скоро уже семь лет; мама ее разлюбит; слишком часто прощаются ей капризы». Фредерик радостно слушал эти слова, точно они были для него откровением.

Уж не андалузка ли она родом или креолка? И не с островов ли вывезла она эту негритянку?

За ее спиной, на медной обшивке борта, лежала длинная шаль с лиловыми полосами. Не раз, наверное, на море, в сырые вечера, она куталась в эту шаль, укрывала ею ноги, спала в ней! Но бахрама перетягивала шаль, и та медленно сползала вниз – вот-вот упадет в реку. Фредерик подхватил ее. Дама сказала:

– Благодарю вас.

Глаза их встретились.

– Жена, ты готова? – крикнул г-н Арну, появляясь на лестнице.

Мадемуазель Марта подбежала к нему, повисла у него на шее и стала дергать за усы. Раздались звуки арфы, девочке захотелось «посмотреть на музыку», и вскоре негритянка, посланная за арфистом, привела его в первый класс. Арну узнал в нем бывшего натурщика; к удивлению присутствующих, он стал говорить ему «ты». Но вот арфист откинул длинные волосы, вытянул руки и коснулся струн.

То был восточный романс, где речь шла о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел обо всем этом пронзительным голосом; стук машины врывался в мелодию, нарушая такт; арфист сильнее ударял по струнам; они дрожали, и, казалось, в их металлических звуках слышны были рыдания и жалобы гордой, но побежденной любви. Леса, тянувшиеся по берегам, спускались к самой воде; дул свежий ветерок; г-жа Арну рассеянно глядела вдаль. Когда музыка умолкла, она несколько раз сомкнула и разомкнула веки, словно пробуждаясь от сна.

Арфист смиренно приблизился к ним. Пока Арну искал мелочь, Фредерик протянул руку и, стыдливо разжав ее над фуражкой музыканта, положил туда луидор. Не тщеславие побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души, почти благоговейный, к которому он мысленно приобщил и ее.

Арну, пропуская молодого человека, стал любезно уговаривать его пройти вниз. Фредерик уверял, что сейчас только позавтракал; на самом деле он умирал от голода, а в кошельке у него не было ни сантима.

Но тут же он решил, что имеет право, как и всякий другой, находиться в каюте.

Несколько буржуа закусывали, сидя за круглыми столами; между ними сновал официант; супруги Арну расположились в глубине направо; Фредерик, убрав газеты, сел на длинный бархатный диванчик.

В Монтеро им предстояло пересест в шалонский дилижанс. Их путешествие по Швейцарии рассчитано на месяц. Г-жа Арну упрекнула мужа в том, что он балует ребенка. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть, какую-нибудь любезность, потому что она улыбнулась. Потом он встал и задернул занавески на окне за ее спиной.

Низкий белый потолок резко отражал свет. Фредерик, сидевший против нее, различал тень от ее ресниц. Она прикасалась губами к стакану, отламывала кусочки хлеба; медальон из бирюзы на золотом браслете в виде цепочки время от времени позвякивал, ударяясь о тарелку. А те, что были кругом, как будто и не замечали ее.

Иногда в иллюминатор можно было увидеть борт лодки, причаливавшей к пароходу, чтобы принять или высадить пассажиров. Люди, сидевшие за столами, наклонялись к окошку и называли местность.

Арну выражал недовольство поваром, а когда подали счет, возмутился и потребовал, чтобы сбавили цену. Затем он повел молодого человека на бак – выпить грогу, но Фредерик скоро вернулся под тент, куда снова пришла г-жа Арну. Она читала тоненькую книжку в серой обложке. Уголки ее рта временами приподнимались, и словно луч радости озарял ее лицо. Он позавидовал тому, кто сочинил все эти вещи, видимо, занимавшие ее. Чем больше он любовался ею, тем сильнее чувствовал, как между ними возникает пропасть. Он думал о том, что вот сейчас надо будет расстаться с ней навсегда, не дождавшись от нее ни единого слова, не оставив о себе даже воспоминания!

Справа была равнина, налево – пастбище; оно тянулось до склона холма, где виднелись виноградники, орешник, мельница в зелени, а дальше тропинки зигзагами вились по белой скале, уходившей в небо. Какое счастье подниматься рядом с нею на холм, обняв ее за талию, меж тем как платье ее будет задевать пожелтевшие листья, слушать ее голос, видеть сияние ее глаз! Пароход мог бы остановиться, им стоило лишь сойти на берег; но все, что казалось так просто, было не легче, чем повернуть солнце.

Немного дальше открылся замок с остроконечной крышей, с четырехугольными башенками. Перед его фасадом расстилались цветники, а липовые аллеи уходили высокими темными сводами в глубь парка. Он представил себе, что она гуляет вдоль живой изгороди. В эту минуту на крыльцо, где стояли кадки с померанцевыми деревьями, вышла дама и молодой человек. Потом все скрылось.

Подле него играла девочка. Фредерик хотел ее поцеловать. Она спряталась за няниной спиной; мать пожурила ее за то, что она нелюбезна с господином, который спас шаль. Не приглашение ли это вступить в беседу?

«Быть может, теперь она заговорит со мной?» – спрашивал он себя.

Времени оставалось мало. Как добиться приглашения к Арну? Фредерик не придумал ничего лучшего, как обратить его внимание на осенние тона пейзажа, и прибавил:

– Недалеко уже и зима – время балов и обедов!

Но Арну всецело был поглощен своим багажом. Показался сюрвильский берег, приближались мосты; вот миновали канатный завод, ряд низких домов; на берегу стояли котлы с дегтем, разбросаны были щепки, а на песке вертелись колесом мальчишки. Фредерик узнал человека в куртке и закричал ему:

– Поскорей!

Причалили. Он с трудом отыскал Арну в толпе пассажиров, и тот, пожимая ему руку, сказал:

– Всего доброго.

На набережной Фредерик оглянулся. Г-жа Арну стояла около руля. Он обратил к ней взгляд, в который хотел вложить всю свою душу; она не пошевелилась, как будто ничего не произошло. Не отвечая на приветствие слуги, Фредерик прикрикнул на него:

– Почему ты не подъехал ближе?

Слуга стал извиняться.

– Какой бестолковый! Дай мне денег!

Фредерик отправился в харчевню поесть.

Четверть часа спустя ему захотелось как бы невзначай зайти на почтовый двор. Не увидит ли он ее еще раз?

«К чему?» – спросил он себя.

И, сев в шарабан, уехал. Из пары лошадей только одна принадлежала его матери. Вторую она попросила у Шамбриона, податного инспектора. Исидор, выехавший накануне, до вечера отдыхал в Бре, а ночевал в Монтеро, так что лошади, передохнув, бежали резво.

Без конца тянулись жнивья. Дорогу окаймляли два ряда деревьев, мелькали одна за другой кучи булыжника, и мало-помалу Фредерику вспомнилось все путешествие: Вильнев-Сен-Жорж, Аблон, Шатийон, Корбей и другие места, – вспомнилось так ярко, что теперь он различил новые подробности, более интимные штрихи. Из-под нижней оборки ее платья выступала ножка в узком шелковом башмачке коричневого цвета; тиковый тент поднимался над ее головой как широкий балдахин, красные кисточки его бахромы все время трепетали от ветра.

Она была похожа на женщин из книг романтиков. Он ничего бы не прибавил к ее облику, ничего бы не убавил в нем. Мир внезапно расширился. Она была той лучезарной точкой, в которой сосредоточился смысл бытия, и, убаюканный движением экипажа, он устремил взгляд к облакам, полузакрыв веки и весь отдался радости, мечтательной и беспредельной.

В Бре он не стал ждать, пока лошадям зададут овса, и один пошел вперед по дороге. Арну звал ее «Мари». Он крикнул громко: «Мари!» Голос его замер в отдалении.

Небо на западе пылало широким пурпурным пламенем. Большие скирды пшеницы отбрасывали огромные тени среди сжатых полей. Где-то на ферме залаяла собака. Он вздрогнул, охваченный необъяснимым волнением.

Когда Исидор догнал его, он сел на козлы, чтобы править самому. Чувство неуверенности прошло. Он твердо решил во что бы то ни стало войти в дом супругов Арну и ближе познакомиться с ними. У них должно быть весело, к тому же и сам Арну ему нравился; а там – как знать? Лицо у него зарделось, в висках стучало, он щелкнул бичом, дернул вожжи, и лошади так понесли, что старый кучер то и дело повторял:

– Потише! Да потише! Вы их загоните.

Фредерик наконец успокоился и стал слушать, что рассказывал слуга.

– Молодого хозяина ждут с нетерпением. Мадемуазель Луиза даже плакала – так ей хотелось поехать ему навстречу.

– Какая мадемуазель Луиза?

– Да дочка господина Рокка!

– Ах, я и забыл! – небрежно ответил Фредерик.

Между тем лошади выбились из сил. Обе захромали, и на башне Святого Лаврентия пробило уже девять, когда Фредерик прибыл на Оружейную площадь, где стоял дом его матери. Этот просторный дом с садом, выходившим в поле, придавал еще больше веса г-же Моро, самой уважаемой особе во всей округе.

Она происходила из старинного дворянского рода, ныне угасшего. Муж ее, плебей, за которого выдали ее родители, погиб на дуэли, когда она была беременна, и оставил ей расстроенное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю и время от времени давала прекрасные званые обеды. Но каждая свеча заранее была на счету, арендная плата ожидалась с нетерпением. Эта ограниченность средств, которую она скрывала как порок, была причи-

ной ее постоянной озабоченности. Добродетель ее проявлялась без ханжества, без озлобления. Малейшая ее милостыня казалась величайшим благодеянием. С г-жой Моро советовались о выборе прислуги, о воспитании молодых девиц, о том, как варить варенье, и его преосвященство, когда объезжал епархию, останавливался у нее.

Госпожа Моро возлагала на своего сына честолюбивые надежды. Как бы заранее принимая меры предосторожности, она не любила, когда при ней порицали правительство. В первое время Фредерику потребуется протекция; потом благодаря своим способностям он станет советником, посланником, министром. Успехи сына в Санском коллеже оправдывали ее материнскую гордость: он получил там первую награду.

Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись, его стали обнимать; потом расставили стулья и кресла широким полукругом у камина. Г-н Гамблен тотчас же спросил его, как он смотрит на дело г-жи Лафарж. Этот шумевший процесс сразу же вызвал горячий спор; правда, г-жа Моро прекратила его, к досаде г-на Гамблена, гость же видел в нем пользу для молодого человека – будущего юриста – и с обидой покинул гостиную.

Впрочем, тут нечему было удивляться, раз г-н Гамблен – приятель дядюшки Рокка! В связи с дядюшкой Рокком речь зашла и о г-не Дамбрёзе, который только что приобрел поместье Ла Фортель. Но Фредерика уже отвел в сторону податный инспектор, интересуясь его мнением о последнем труде г-на Гизо. Все желали узнать, каковы дела Фредерика, и г-жа Бенуа ловко приступила к расспросам, справившись о здоровье дядюшки. Как поживает этот милый родственник? О нем что-то ничего не слышно. Ведь у него есть в Америке троюродный брат?

Кухарка доложила, что г-ну Фредерику подано кушать. Гости из скромности удалились. А когда мать и сын остались одни, она вполголоса спросила:

– Ну что?

Старик принял его очень сердечно, но своих намерений не открывал.

Госпожа Моро вздохнула.

«Где-то она сейчас? – думал Фредерик. – Дилижанс катит, и, наверно, закутавшись в шаль, она дремлет, прислонясь прелестной головкой к суконной обивке кареты».

Когда они уже поднимались в свои спальни, мальчик из гостиницы «Созвездие лебедя» принес записку.

– Что такое?

– Делорье просит меня выйти к нему, – ответил Фредерик.

– А! Твой товарищ! – презрительно усмехнулась г-жа Моро. – Нашел время, право! Фредерик был в нерешительности. Но дружба пересилила. Он взялся за шляпу.

– Только возвращайся скорее, – сказала ему мать.

II

Отец Шарля Делорье, бывший пехотный капитан, выйдя в отставку в 1818 году, возвратился в Ножан, женился и на деньги от приданого купил должность судебного пристава, которая еле-еле давала ему средства к существованию. Озлобленный рядом несправедливостей, страдая от старых ран и не переставая жалеть об Императоре, он изливал на окружающих душивший его гнев. Не многих детей колотили так часто, как его сына. Несмотря на побои, мальчуган упорствовал. Если мать пыталась за него заступиться, отец обходился с нею так же грубо, как и с сыном. Наконец капитан засадил его в свою контору, и мальчик целыми днями должен был, согнувшись, переписывать бумаги, отчего правое плечо у него стало заметно выдаваться.

В 1833 году, по предложению председателя суда, капитан продал контору. Жена его умерла от рака. Он переехал в Дижон; потом, устроившись в Труа, занялся поставкой рекрутов и, добившись для Шарля половинной стипендии, отдал его в Санский коллеж, где с ним и встретился Фредерик. Но одному было двенадцать лет, другому пятнадцать; к тому же характер и происхождение создавали между ними множество преград.

В комод у Фредерика водилась всякая снедь, были редкостные вещицы – туалетный прибор, например. Он любил долго спать по утрам, наблюдать полет ласточек, читать драмы и, жалея о приятностях домашнего очага, находил жизнь в коллеже тяжелой.

Сыну судебного пристава она, наоборот, казалась привольной. Он учился так хорошо, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако – вследствие бедности или сварливого нрава – он был окружен глухим недоброжелательством. И вот однажды, когда во дворе перед целой ватагой учеников средних классов служитель обозвал Шарля оборвышем, мальчик схватил его за горло и убил бы, если бы не подоспели три надзирателя. Фредерик в порыве восторга бросился обнимать его. С того дня и началась у них дружба. Привязанность старшего, несомненно, льстила тщеславию малыша, а старший был счастлив встретить такую преданность.

На время каникул отец не брал его из коллежа. Перевод Платона, случайно попавшийся Шарлю, привел его в восхищение. Он увлекся метафизикой и быстро сделал большие успехи, ибо за изучение ее он взялся с юношеским пылом, с гордостью пробуждающегося сознания; Жуффруа, Кузен, Ларомигьер, Мальбранш, шотландцы – все, что имелось в библиотеке, было прочитано. Ему пришлось украсть ключ, чтобы добывать книги...

Развлечения Фредерика были менее серьезного свойства. На улице Трех Волхвов он срисовал родословную Христа, вырезанную на одной из колонн, потом изобразил портал собора. После средневековых драм он взялся за мемуары Фруассара, Коммина, Пьера де Летуаля, Брантома. Образы, навеянные этим чтением, так его захватили, что он почувствовал потребность их воспроизвести. Он лелеял гордую надежду стать со временем французским Вальтером Скоттом. А Делорье обдумывал обширную философскую систему, которая найдет применение в грядущих веках.

Они разговаривали обо всем этом на переменах, во дворе, перед нравоучительной надписью под часами; они перешептывались в церкви под носом у Людовика Святого; они мечтали о том же и в дортуаре, окна которого выходили на кладбище. В дни, когда бывала прогулка, они становились в последней паре и болтали без умолку.

Они говорили о том, что будут делать, когда окончат коллеж. Прежде всего они предпримут большое путешествие – на те деньги, что Фредерик, достигнув совершеннолетия, получит со своего капитала. Потом они возвратятся в Париж, станут вместе работать, никогда не разлучатся, а от своих трудов будут отдыхать, наслаждаясь любовью принцесс в атласных будуарах или тешась шумными оргиями со знаменитыми куртизанками. Взлеты надежды сменялись сомнениями. После приступов веселой болтливости наступало глубокое молчание.

Летними вечерами они долго бродили по каменистым дорожкам вдоль виноградников или по большой дороге среди полей, где в лучах заходящего солнца колыхались колосья и веяло запахом дягиля; когда им становилось душно, они ложились на спину, одурманенные, опьяненные. Их товарищи, сняв куртки, бегали вперегонки или пускали воздушных змеев. Надзиратель сзывал их. Домой возвращались мимо садов, пересеченных ручейками, потом шли бульварами в тени старых стен; шаги гулко отдавались в пустынных улицах; открывалась калитка, все поднимались по лестнице, и друзьями овладевала тоска, как после бурного кутежа.

Господин инспектор утверждал, что они только будоражат друг друга. Однако если в старших классах Фредерик проявлял хоть какое-то усердие, то лишь благодаря увещаниям товарища, а на каникулы в 1837 году он повез Делорье к своей матери.

Молодой человек не понравился г-же Моро. Ел он необычайно много, отказывался ходить по воскресеньям в церковь, рассуждал в республиканском духе, наконец, до нее дошел слух, что он водил ее сына в непотребные места. За ними стали следить. От этого мальчики больше прежнего привязались друг к другу, и, когда на следующий год Делорье покинул колледж и уехал в Париж изучать право, расставание было мучительным.

Фредерик рассчитывал там встретиться с ним. Они не виделись уже два года; кончив обниматься, друзья пошли к мостам, чтобы как следует наговориться.

Сын потребовал у отца отчета по опеке; капитан – он содержал теперь бильярдный зал в Вильноксе – пришел в ярость и наотрез отказал ему в поддержке. Мечтая в будущем получить по конкурсу профессорскую кафедру, а сейчас вовсе не имея денег, Делорье поступил старшим клерком к адвокату в Труа. Он намеревался ценою лишений скопить четыре тысячи франков, и, если ему даже ничего не достанется из материнского наследства, все же у него будут средства, чтобы спокойно заниматься в течение трех лет в ожидании места. Значит, надо было отказаться, по крайней мере сейчас, от их давнего плана – вместе поселиться в столице.

Фредерик поник головой. Рушилась первая его мечта.

– Утешься, – сказал сын капитана, – жить нам еще долго, мы молоды. Я к тебе приеду! Брось об этом думать!

Он тряс друга за руки и, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, начал расспрашивать о путешествии.

Фредерик мало что мог рассказать. Но при воспоминании о г-же Арну его печаль рассеялась. Он не стал говорить о ней: его удерживала стыдливость. Зато распространился о г-не Арну: о его словах, манерах, связях; Делорье настойчиво посоветовал ему поддерживать это знакомство.

Фредерик последнее время ничего не писал; его литературные взгляды изменились; он выше всего ставил страсть; Вертер, Рене, Франк, Лара, Лелия и другие менее замечательные персонажи восхищали его почти в равной мере. А порою ему казалось, что только музыка способна выразить его глубокое волнение: тогда он грезил симфониями; порою же его увлекал внешний облик предметов, и тогда ему хотелось быть живописцем. Впрочем, он сочинял и стихи; Делорье очень одобрил их, но не просил почитать еще.

Сам же он забросил метафизику. Его занимали политическая экономия и Французская революция. Шарль был теперь высокий малый двадцати двух лет, худой, с большим ртом, решительный на вид. В тот вечер на нем было скверное люстриновое пальто, а башмаки его побелели от пыли, так как он пешком проделал весь путь от Вильнокса, только чтобы повидать Фредерика.

К ним навстречу шел Исидор. Г-жа Моро просит г-на Фредерика вернуться, она боится, как бы он не озяб, и посылает ему плащ.

– Да не торопись! – сказал Делорье.

И они продолжали ходить из конца в конец по обоим мостам, что ведут на остров, образуемый каналом и рекою.

Когда они поворачивали в сторону Ножана, прямо перед ними появлялись дома, спускающиеся по склону; направо, из-за лесопилен с закрытыми шлюзами, выступала церковь, налево же, окаймленные живой изгородью, тянулись по берегу сады, которые лишь с трудом удавалось различить. А по направлению к Парижу дорога спускалась совершенно прямо, и луга уходили в даль, окутанную ночной мглой. Ночь была безмолвна, пронизана беловатым сиянием. Чувствовался запах влажной листвы. От запруженной реки, шагах в ста отсюда, доносился сильный и мягкий шум, похожий на звук прибоя в темноте.

Делорье остановился и сказал:

– Добрые люди мирно спят – вот забавно! Но терпение! Готовится новый восемьдесят девятый год. Мы устали от конституций, хартий, хитросплетений, всякой лжи. О, если бы у меня была своя газета или трибуна, я бы все это ниспровергнул! Но без денег ничего не предпримешь. Вот проклятие – быть сыном кабатчика и растрачивать молодость в погоне за куском хлеба!

Он опустил голову и закусил губы, дрожа от холода в легком пальто.

Фредерик накинуд ему на плечи половину своего плаща. Они закутались в него и, прижавшись друг к другу, пошли рядом.

– Как же я буду жить там один, без тебя? – говорил Фредерик. (Горечь друга вновь пробудила в нем тоску.) – Я бы еще, пожалуй, сделал что-нибудь, будь со мной любящая женщина... Чему ты смеешься? Любовь – это духовная пища и как бы атмосфера таланта. Необычайные чувства порождают высокие творения. Но искать ту, которая мне нужна, – нет, от этого я отказываюсь! Впрочем, даже если я когда-нибудь найду ее, она меня оттолкнет. Я принадлежу к отверженным, я угасну, владея сокровищем, и не буду знать, поддельный ли это камень или бриллиант.

Чья-то тень легла на мостовую, и тотчас же они услышали:

– Мое почтение, господа!

Слова эти произнес маленький человечек в широком коричневом сюртуке и в фуражке, под козырьком которой торчал острый нос.

– Господин Рокк? – сказал Фредерик.

– Он самый! – ответил тот.

Житель Ножана объяснил свое появление тем, что ходил осматривать волчьи капканы, расставленные им у себя в саду, у реки.

– Так вы вернулись в наши края? Прекрасно! Я это узнал от дочки. В добром здравии, надеюсь? Еще не скоро уезжаете?

С этими словами он удалился, недовольный, вероятно, тем, как его встретил Фредерик.

Госпожа Моро и в самом деле не поддерживала с ним знакомства: дядюшка Рокк находился в незаконном сожителстве со своей служанкой и не пользовался уважением, хотя и был у г-на Дамбрёза агентом по выборам и управляющим.

– Он служит у банкира, что живет на улице Анжу? – спросил Делорье. – Знаешь, друг любезный, что ты должен сделать?

Исидор во второй раз прервал их беседу. Ему было велено непременно привести Фредерика. Г-жу Моро беспокоит его отсутствие.

– Хорошо, хорошо, сейчас, – сказал Делорье, – уж ночевать-то он придет домой. – И прибавил, когда слуга ушел: – Тебе надо бы попросить этого старика, чтоб он ввел тебя к Дамбрёзам; нет ничего полезнее, как бывать в богатом доме! Раз у тебя есть черный фрак и белые перчатки – воспользуйся этим. Тебе следует вращаться в таком обществе. Потом ты и меня туда введешь. Ведь он миллионер, подумай только! Постарайся понравиться ему, да и жене его тоже. Сделайся ее любовником!

Фредерик возмутился.

– Да ведь, кажется, я говорю тебе общеизвестные вещи? Вспомни хоть Растиньяка из «Человеческой комедии». Ты добьешься удачи, я уверен.

Фредерик питал такое доверие к Делорье, что даже растерялся, и, забывая о г-же Арну или мысленно применяя к ней то, что было сказано по поводу другой, не мог удержаться от улыбки.

Клерк прибавил:

– И последний мой совет: сдай все экзамены! Звание всегда пригодится. И брось ты своих католических и сатанических поэтов, которые в философии ушли не дальше, чем люди двенадцатого века. Твое отчаяние просто глупо. Самым великим людям еще труднее было начинать, тому же Мирабо хотя бы. Впрочем, расстаемся мы не на такой уж долгий срок. Мошенника-отца я заставлю вернуть мою долю. Но мне пора идти, прощай! Нет ли у тебя ста су? Мне надо заплатить за обед.

Фредерик дал ему десять франков – остаток денег, которые он утром взял у Исидора.

В двадцати туазах от мостов, на левом берегу, в слуховом окне низенького дома блестел огонек.

Делорье заметил его. Сняв шляпу, он торжественно сказал:

– Венера, властительница небес, привет тебе! Но Нищета – мать Целомудрия. Чего о нас только не придумывали по этому поводу, боже ты мой!

Намек на приключение, в котором участвовали они оба, их развеселил. Идя по улицам, они громко смеялись.

Потом, расплатившись в гостинице, Делорье проводил Фредерика до перекрестка у больницы, и друзья после долгих объятий расстались.

III

Прошло два месяца, и вот Фредерик, только утром приехавший в гостиницу на улице Цапли, первым делом решил сделать свой главный визит.

Случай ему благоприятствовал. Дядюшка Рокк принес ему сверток с бумагами и просил лично вручить их г-ну Дамбрёзу, а к свертку была приложена незапечатанная записка, в которой он рекомендовал своего молодого земляка.

Госпожу Моро это поручение как будто удивило. А Фредерик и виду не показал, насколько оно ему приятно.

Господин Дамбрёз был, собственно, графом д'Амбрёзом, но с 1825 года, изменяя своему титулу и своему кругу, он обратился к промышленности: он умел проведать обо всем, что творится в любой конторе, принимал участие в любом предприятии, подстерегал всякий благоприятный случай и, хитрый, как грек, трудолюбивый, как овернец, нажил, по слухам, значительное состояние; кроме того, он был кавалером Почетного легиона, членом генерального совета в департаменте Обы, депутатом и не сегодня-завтра станет, конечно, пэром Франции; будучи человеком услужливым, он надоедал министру беспрестанными просьбами о пособиях, орденах, табачных привилегиях, а когда бывал недоволен властью, склонялся в сторону левого центра. Его жена, хорошенькая г-жа Дамбрёз, имя которой встречалось в журналах мод, председательствовала в благотворительных обществах. Угождая герцогиням, она смягчала гнев аристократического предместья и давала повод думать, будто г-н Дамбрёз еще может исправиться и быть полезным.

Молодой человек, собираясь к ним, волновался.

– Лучше было бы надеть фрак. Меня, наверно, пригласят на бал на следующей неделе. Что-то мне скажут?

Мысль о том, что г-н Дамбрёз всего-навсего буржуа, вернула ему прежнюю уверенность, и он смело выпрыгнул из кабриолета на тротуар улицы Анжу.

Толкнув створку ворот, он прошел двор, поднялся по ступенькам подъезда и вступил в вестибюль, где пол был выложен пестрым мрамором.

Двойная прямая лестница, устланная красным ковром с медными прутьями, подымалась между высоких стен, отделанных под мрамор. Внизу стояло банановое дерево, широкие листья которого касались бархата перил. С двух бронзовых канделябров свисали на цепочках фарфоровые шары; через открытые отдушины калорифера проникал тяжелый нагретый воздух; слышно было только тиканье больших часов, стоявших на другом конце вестибюля под развешанным на стене оружием.

Раздался звонок; появился лакей и провел Фредерика в маленькую комнату, где было два несгораемых шкафа и полки, заваленные папками. Г-н Дамбрёз писал, сидя за полукруглым бюро посередине комнаты.

Он пробежал письмо дядюшки Рокка, вскрыл перочинным ножом холст, в который были зашиты бумаги, и стал просматривать их.

Тонкий и стройный, он издали мог бы сойти за человека еще молодого. Но его редкие седые волосы, хилое тело, а главное, необычайно бледное лицо говорили о расшатанном здоровье. В серо-зеленых глазах, холодных, как стекло, таилась неумолимая энергия. Скулы у него были широкие, суставы на пальцах узловатые.

Наконец он встал и задал молодому человеку несколько вопросов об общих знакомых, о Ножане, о его занятиях; потом легким поклоном дал понять, что не задерживает посетителя. Фредерик вышел другим ходом и очутился в конце двора, около каретных сараев.

Перед подъездом стояла синяя двухместная карета, запряженная вороной лошастью. Дверцу открыли, в экипаж села дама, и он с глухим стуком покатил по песку.

Фредерик оказался у ворот, к которым подошел с другой стороны, в одно время с каретой. Проезд был недостаточно широк, и ему пришлось пропустить экипаж. Молодая женщина, высунувшись в окошко, что-то тихо сказала привратнику. Фредерик видел ее со спины и не разглядел ничего, кроме фиолетовой накидки. Дама тут же скрылась внутри кареты, обитой голубым репсом, с кистями и шелковой бахромой. Там все заполнял собою ее наряд; из этой маленькой стеганой шкатулки веяло запахом ириса и как бы смутным благоуханием женской изысканности. Кучер отпустил поводья, лошадь рванула, задела за тумбу, и все скрылось.

Фредерик возвращался пешком по бульварам.

Он жалел, что не мог разглядеть г-жу Дамбрёз.

Миновав улицу Монмартр, он повернул голову, привлеченный скоплением экипажей, и на противоположной стороне, прямо перед собой, прочитал надпись на мраморной доске:

ЖАК АРНУ

Как это он раньше не подумал о ней? Во всем виноват Делорье. Фредерик направился к лавке; однако не вошел; он ждал, не появится ли г-жа Арну.

За большими зеркальными окнами были видны искусно размещенные статуэтки, рисунки, гравюры, каталоги, номера «Художественной промышленности», а условия подписки были воспроизведены на двери, украшенной посередине инициалами издателя. Вдоль стен стояли большие картины, блестящие лаком, в глубине находились две горки с фарфором, бронзой, соблазнительными и занятыми вещами; там же начиналась маленькая лестница с триповой портьерой наверху, у выхода на площадку; люстра старинного саксонского фарфора, зеленый ковер на полу, стол с инкрустацией придавали всему заведению вид скорее гостиной, чем магазина.

Фредерик притворился, будто разглядывает рисунки. После бесконечных колебаний он вошел.

Приказчик откинул портьеру и сообщил, что хозяина не будет «в магазине» до пяти часов. Но поручение можно передать...

– Нет, я зайду еще, – скромно ответил Фредерик.

Следующие дни он занялся поисками квартиры; свой выбор он остановил на помещении в третьем этаже меблированных комнат на улице Святого Гиацинта.

С новеньким бюваром под мышкой он отправился на первую лекцию. Триста молодых людей без шляп наполняли аудиторию, устроенную амфитеатром, а старец в красной мантии излагал что-то монотонным голосом; по бумаге скрипели перья. Здесь был тот же запах пыли, что и в классах коллежа, стояла такая же кафедра, царила та же скука! Целых две недели Фредерик ходил сюда. Но не успели студенты дойти до третьей статьи, как он бросил Гражданский кодекс, а с институциями расстался на *Summa divisio personarum*¹.

Радости, на которые он надеялся, не приходили, и вот, исчерпав все запасы одной из библиотек, бегло осмотрев Лувр и несколько раз подряд побывав в театре, он впал в совершеннейшую праздность.

Тысячи мелочей, до сих пор ему неизвестных, усугубляли его тоску. Фредерику приходилось отдавать в стирку белье и терпеть присутствие привратника, невежи с повадками бытового служителя, от которого так и несло алкоголем, когда он, ворча, являлся по утрам, чтобы оправить постель. Да и самая комната, украшенная алебастровыми часами, не нравилась Фредерику. Стены были тонкие; он слышал, как студенты варят пунш, смеются, поют.

¹ Основное разделение лиц (субъектов гражданского права) (лат.).

Устав от одиночества, он решил разыскать одного из своих прежних товарищей, Батиста Мартинона, и нашел его в буржуазном пансионе на улице Сен-Жак, у горящего камина, где тот зубрил судопроизводство.

Против него сидела женщина в ситцевом платье и штопала носки.

Мартинон был, что называется, красавец мужчина: высокий, круглолицый, с правильными чертами лица и бледно-голубыми глазами навывкате; его отец, крупный землевладелец, предназначал сына для судейской карьеры, и Мартинон, желая казаться солидным, уже отпустил окладистую бороду.

Так как уныние Фредерика не имело никакой серьезной причины, его сетования на жизнь остались непонятны Мартинону. Сам он каждое утро посещал лекции, потом гулял в Люксембургском саду, вечером выпивал в кофейной полпорции кофе и, имея полторы тысячи франков в год, наслаждался любовью простой мастерицы и считал себя вполне счастливым.

«Что это за счастье!» – мысленно воскликнул Фредерик.

В университете же он завел другое знакомство – с г-ном де Сизи, отпрыском знатного рода, приятностью манер напоминавшим девицу.

Господин де Сизи рисовал, увлекался готикой. Несколько раз они вместе ходили любоваться храмом Сент-Шапель и собором Богоматери. Но за изысканностью молодого патриция скрывался ум самый убогий. Все поражало его; он долго смеялся малейшей шутке и выказывал наивность столь полную, что сперва Фредерик принимал его за шутника, а под конец увидел, что он просто глуп.

Итак, излить душу было некому, и он все еще ждал приглашения от Дамбрёзов.

На Новый год он послал им визитные карточки, но от них не получил ничего.

Фредерик опять зашел в «Художественную промышленность».

Он зашел туда и в третий раз и застал наконец Арну, который о чем-то спорил, окруженный пятью-шестью посетителями, и едва ответил на его поклон; Фредерика это обидело. Тем не менее он продолжал искать средства, как бы проникнуть к ней.

Сперва он задумал почаще приходить и прицениваться к картинам. Потом решил послать в журнал несколько статей, «да порезче», чтобы таким способом завязать отношения. Может быть, лучше всего прямо пойти к цели, признаться в любви? И он сочинил письмо в двенадцать страниц, полное лирических порывов и риторических обращений, но разорвал его и ничего не сделал, ничего не предпринял, скованный боязнью неудачи.

Над магазином Арну, на втором этаже, было три окна, где по вечерам всегда горел свет. Там двигались тени, особенно одна – ее тень; он проделывал длинный путь, лишь бы взглянуть на эти окна и посмотреть на эту тень.

Как-то раз в Тюильри ему повстречалась негритянка, которая вела за руку маленькую девочку; она напомнила ему негритянку г-жи Арну. Мари, должно быть, тоже бывает здесь; и всякий раз, как он проходил через Тюильри, сердце его билось при мысли, что он увидит ее. В солнечные дни он продолжал свои прогулки вплоть до Елисейских Полей.

Небрежно откинувшись в колясках, чуть покачиваясь, проезжали мимо него женщины с развевавшимися от ветра вуалями; мерно двигались лошади, блестящая кожа сидений поскрипывала. Экипажей становилось все больше; начиная от круглой площадки, они замедляли ход и запружали всю дорогу – грива к гриве, фонарь к фонарю; стальные стремяна, серебряные уздечки, медные пряжки выделялись блестящими точками среди мелькания рейтуз, белых перчаток и мехов, которые свешивались на гербы, украшавшие дверцы карет. Фредерик чувствовал себя словно затерянным среди чуждого мира. Его глаза, блуждая, следили за женскими головками, и даже смутное сходство вызывало в его памяти г-жу Арну. Он представлял себе ее среди толпы других, в одной из маленьких карет, похожих на карету г-жи Дамбрёз. Но солнце заходило, холодный ветер поднимал облака пыли. Кучера прятали подбородки в воротники, колеса вертелись быстрее, и под ними шелестела макадамовая мостовая; экипажи мчались по

длинной аллее, задевая, обгоняя друг друга, а потом, на площади Согласия, разъезжались в разные стороны. За Тюильри небо окрашивалось в аспидный цвет. Деревья сада сливались в два огромных массива; вершины их еще лиловели. Зажигались газовые рожки, а Сена, зеленоватая на всем своем протяжении, покрывалась у опор мостов серебристой рябью.

Фредерик ходил обедать по абонементу за сорок три су в ресторан на улице Лагарпа.

Он с пренебрежением смотрел на старую стойку красного дерева, на грязные салфетки, на неопрятное серебро и на шляпы, висевшие на стене. Его окружали студенты, такие же, как он сам. Они разговаривали о своих профессорах, о своих любовницах. Какое ему дело до профессоров? И разве у него есть любовница? Избегая их веселого общества, он приходил как можно позже. На столах еще не были убраны объедки. Оба лакея, усталые, дремали в углу; запах кухни, ламп и табака наполнял опустевшую комнату.

Потом он медленно возвращался. Покачивались фонари, в лужах дрожали длинные желтоватые отсветы. По тротуарам скользили тени под зонтиками. На мостовой было грязно, опускалась мгла, и ему казалось, что этот безграничный, сырой мрак, окутывая его, обволакивает и его душу.

Дали себя знать угрызения совести. Фредерик опять стал ходить на лекции. Но он так много их пропустил, что даже самые простые вещи затрудняли его.

Он начал писать роман под заглавием «Сильвио, сын рыбака». Дело происходило в Венеции. Героем был он сам, героиней – г-жа Арну. Называлась она Антония, и, чтобы овладеть ею, он убивал нескольких дворян, сжигал часть города и пел под ее балконом на бульваре Монмартр, где развевались от дуновения ветерка красные штофные занавески. Слишком частые совпадения с действительностью смущали его, когда он их заметил; он не стал продолжать романа и окончательно предался праздности.

Он стал умолять Делорье приехать и поселиться вместе с ним. Они сумеют прожить на две тысячи франков, получаемые им на содержание; все лучше, чем эта нестерпимая жизнь. Делорье еще не мог уехать из Труа. Он рекомендовал Фредерику развлекаться и посещать Сенекаля.

Сенекаль был учитель математики, человек большого ума и республиканских убеждений, будущий Сен-Жюст, по словам клерка. Фредерик три раза поднимался к нему на шестой этаж, но визит так и не был ему отдан. Больше он туда не пошел.

Фредерику захотелось повеселиться. Он стал ходить на балы в Оперу. Не успевал он войти, как это бурное оживление обдавало его холодом. К тому же его удерживали и опасения меркантильного свойства, так как он воображал, будто ужин с маской требует огромных расходов и представляет собой рискованное похождение.

А между тем ему казалось, что его должны любить. Порою он просыпался, полный надежд, тщательно одевался, точно готовясь к свиданию, и совершал по Парижу бесконечные прогулки. Каждый раз, увидев женщину, шедшую впереди него или ему навстречу, он говорил себе: «Вот она!» – и каждый раз это было новое разочарование. Мысль о г-же Арну еще усиливала его вожделения. Он, может быть, встретит ее на своем пути; мечтая приблизиться к ней, он рисовал в своем воображении странные стечения обстоятельств, необыкновенные опасности, от которых он ее спасет.

А дни протекали так же томительно однообразно, в кругу заведенных привычек. Он перелистывал брошюры под аркадами «Одеона», ходил в кафе читать «Ревю де Де Монд», заходил на час в какую-нибудь аудиторию Французского коллежа – послушать лекцию о китайском языке или о политической экономии. Каждую неделю он писал пространные письма Делорье, время от времени обедал с Мартиноном, иногда встречался с г-ном де Сизи.

Он взял напрокат рояль и стал сочинять вальсы в немецком духе.

Однажды вечером в театре «Пале-Рояль» он заметил в одной из литерных лож Арну и рядом с ним женщину. Она ли это? Экран из зеленой тафты на барьере ложи закрывал ее лицо.

Наконец занавес поднялся, экран убрали. Эта была особа высокого роста, лет тридцати, уже поблекшая, с толстыми губами; когда она смеялась, открывался ряд великолепных зубов. Она фамильярно разговаривала с Арну и похлопывала его веером по пальцам. Потом показалась белокурая девушка с красноватыми, словно от слез, веками и села между ними. Теперь Арну склонился к ее плечу, что-то ей говорил, она слушала и не отвечала. Фредерик изошрялся в догадках, кто такие эти женщины, одетые в простые темные платья с гладкими отложными воротничками.

Когда представление окончилось, он поспешил в коридоры. Толпа заполняла их. Арну медленно спускался по лестнице впереди него, держа под руку обеих женщин.

Вдруг на него упал свет газового рожка. На его шляпе был креп. Не умерла ли она? Эта мысль так мучила Фредерика, что на другой же день он побежал в «Художественную промышленность», наскоро выбрал одну из гравюр, выставленную в витрине, и, расплачиваясь, спросил приказчика, как чувствует себя г-н Арну.

Приказчик ответил:

– Превосходно.

Фредерик, бледнея, задал второй вопрос:

– А госпожа Арну?

– Госпожа Арну тоже.

Фредерик забыл взять гравюру.

Зима кончилась. Весной ему было не так тоскливо, он стал готовиться к экзаменам и, выдержав их посредственно, сразу же уехал в Ножан.

В Труа, к своему другу, он не наведился, чтобы избежать замечаний матери. По возвращении в Париж он отказался от прошлогодней квартиры, нанял на набережной Наполеона две комнаты и обставил их. Он уже не надеялся на приглашение к Дамбрёзам; великая страсть к г-же Арну начала угасать.

IV

Однажды декабрьским утром, когда он шел на лекцию по судопроизводству, ему показалось, что на улице Сен-Жак больше оживления, чем обычно. Студенты стремительно выходили из кафе, другие перекликались, стоя у открытых окон; лавочники, вышедшие на тротуар, с беспокойством глядели по сторонам; закрывались ставни; а на улице Суффло он увидел огромную толпу, окружавшую Пантеон.

Молодые люди, кучками от пяти до двенадцати человек, прогуливались, взявшись под руки, и подходили к более многочисленным группам; в конце площади, у решетки, о чем-то с жаром рассуждали люди в блузах, а полицейские в треуголках набекрень, заложив руки за спину, шагали вдоль стен, стуча тяжелыми сапогами по каменным плитам. Вид у всех был таинственный и недоумевающий; чего-то явно ждали; у каждого на языке вертелся невысказанный вопрос.

Фредерик стоял подле молодого благообразного блондина с усами и бородкой, какие носили щеголи времен Людовика XIII. Фредерик спросил его о причине беспорядков.

– Ничего не знаю, – ответил тот, – да и они сами не знают! Теперь у них так принято! Потеха!

И он расхохотался.

Петиции о реформе, распространяемые среди Национальной гвардии для сбора подписей, перепись Юмана и другие события уже целых полгода вызывали в Париже непонятные сборища; и повторялись они столь часто, что газеты даже перестали о них упоминать.

– Нет у студентов ни запала, ни своего лица, – продолжал сосед Фредерика. – Сдается мне, милостивый государь, что мы вырождаемся. В доброе время Людовика Одиннадцатого и даже во времена Бенжамена Констан среди школяров больше было вольнолюбия. Теперь они, по-моему, смиренны как овечки, глупы как пробки и годны, прости господи, лишь в бакалейщики. И это называется студенчеством!

Он развел руками, совсем как Фредерик Леметр в роли Робера Макэра.

– Студенчество, благословляю тебя!

Затем, обратившись к тряпичнику, перебиравшему раковины от устриц на тумбе у винной лавки, спросил:

– А ты тоже принадлежишь к студенчеству?

Старик поднял безобразное лицо, покрытое седой щетиной, среди которой выделялись красный нос и бессмысленные, пьяные глаза.

– Нет, мне кажется, ты скорее из тех, кому не миновать виселицы и кто, снуя в народе, полными пригоршнями сыплет золото... О! Сыпь, патриарше, сыпь! Подкупай меня сокровищами Альбиона! Are you English?² Я не отвергаю даров Артаксеркса! Однако потолкуем о таможенном союзе.

Фредерик почувствовал, как кто-то тронул его за плечо; он обернулся. Это был Мартинон, страшно бледный.

– Ну, вот, – сказал он, глубоко вздохнув, – опять бунт!

Он боялся навлечь на себя подозрения и очень сокрушался. Особенно тревожили его люди в блузах, будто бы принадлежавшие к тайным обществам.

– Да разве существуют тайные общества! – сказал молодой человек с усами. – Это все старые сказки, которыми правительство запугивает буржуа!

Мартинон попросил его говорить потише: он опасался полиции.

² Вы англичанин? (англ.)

– Вы еще верите в полицию? А в сущности, почем знать, сударь, может быть, я и сам сыщик?

И он так посмотрел на Мартинона, что тот, перепугавшись, сперва не понял шутки. Толпа оттеснила их, и всем троим пришлось стать на лесенке, ведущей к коридору, за которым находилась новая аудитория.

Вскоре толпа расступилась; некоторые сняли шляпы: они приветствовали знаменитого профессора Самюэля Рондело – в широком сюртуке, с очками в серебряной оправе, сдвинутыми на лоб; страдая от одышки, он медленно шел читать лекцию. Это был один из тех, кто в области права составлял гордость XIX века, соперник Цахариев и Рудорфов. Удостоившись недавно звания пэра Франции, он ни в чем не изменил своих привычек. Было известно, что он беден, все относились к нему с большим уважением.

Между тем в конце площади раздались голоса:

- Долой Гизо!
- Долой Притчарда!
- Долой предателей!
- Долой Луи-Филиппа!

Толпа пришла в движение и, стеснившись у закрытых ворот во двор, не давала профессору пройти. Он остановился у лестницы. Вскоре он показался на третьей, верхней ступени. Он что-то начал говорить; толпа загудела, заглушая его слова. Только что он был любим, а теперь его уже ненавидели, ибо он представлял собою власть. Всякий раз, как он пытался что-то сказать, возобновлялись крики. Он сделал широкий жест, предлагая студентам следовать за ним. Ответом был общий рев. Профессор презрительно пожал плечами и исчез в коридоре. Мартинон воспользовался случаем и скрылся в одно время с ним.

- Экий трус! – сказал Фредерик.
- Осторожный! – отозвался молодой человек.

Толпа разразилась аплодисментами. Отступление профессора было ее победой. Из всех окон выглядывали любопытные. Некоторые запевали «Марсельезу», другие предлагали идти к Беранже.

- К Лаффиту!
- К Шатобриану!
- К Вольтеру! – заорал белокурый молодой человек с усами.

Полицейские пытались проложить себе дорогу и говорили как можно мягче:

- Расходитесь, господа, расходитесь по домам!

Кто-то крикнул:

- Долой убийц!

Со времени сентябрьских волнений эти слова стали бранными... Все подхватили его. Блюстителям общественного порядка гикали, свистали; они побледили; один из них не выдержал и, увидев низенького подростка, подошедшего слишком близко и смеявшегося ему прямо в лицо, оттолкнул его с такой силой, что тот, отлетев шагов на пять, упал навзничь у лавки виноторговца. Все расступились; но почти тотчас же покатился и сам полицейский, сбитый с ног каким-то геркулесом, волосы которого выбивались из-под клеенчатой фуражки, точно свалившаяся пакля.

Этот человек уже несколько минут стоял на углу улицы Сен-Жак с большой картонкой в руках; быстро освободившись от нее, он бросился на полицейского и, подмяв его под себя, изо всей силы принялся барабанить кулаками по его физиономии. Подбежали другие полицейские. Грозный детина был так силен, что для его укрощения потребовалось не менее четырех человек. Двое трясли его за шиворот, двое тащили за руки, пятый коленкой пинал в зад, и все они ругали его разбойником, убийцей, бунтовщиком, а он, растерзанный, с обнаженной грудью,

в одежде, от которой остались одни клочья, уверял, что не виноват: не мог он хладнокровно смотреть, как бьют ребенка.

– Меня зовут Дюсардьё. Служу у братьев Валенсар, в магазине кружев и мод, на улице Клери. Где моя картонка? Отдайте мне картонку!

Он все твердил:

– Дюсардьё!.. С улицы Клери! Отдайте картонку!

Однако он успокоился и стоически дал увести себя в участок на улицу Декарта. Вслед ему устремился целый поток. Фредерик и усатый молодой человек шли непосредственно за ним, восхищаясь этим приказчиком, негодуя на насилие власти.

Но по мере того как они приближались к цели, толпа редела.

Полицейские время от времени свирепо оборачивались, но так как буянам больше нечего было делать, а зевакам не на что смотреть, все мало-помалу разбрелось. Встречные прохожие разглядывали Дюсардьё и вслух делали оскорбительные замечания. Какая-то старуха даже крикнула со своего порога, что он украл хлеб; эта несправедливость еще усилила раздражение обоих приятелей. Наконец дошли до кордегардии. Оставалось всего человек двадцать. Стоило им увидеть солдат, как разбежались и они.

Фредерик и его товарищ смело потребовали освобождения арестованного. Полицейский пригрозил им, что, если они будут настаивать, их тоже посадят. Они вызвали начальника, назвали себя и сказали, что они студенты-юристы, а задержанный – их коллега.

Молодых людей ввели в совершенно пустую комнату с неоштукатуренными закопченными стенами, вдоль которых стояли четыре скамьи. В задней стене открылось окошечко. Показались огромная голова Дюсардьё, его всклокоченные волосы, маленькие доверчивые глазки, приплюснутый нос – черты, чем-то напоминавшие морду добродушного пса.

– Не узнаешь нас? – сказал Юссонэ. Так звали молодого человека с усами.

– Но... – пробормотал Дюсардьё.

– Брось дурака валять! – продолжал тот. – Ведь ты же студент-юрист, как и мы.

Несмотря на их подмигивания, Дюсардьё ничего не соображал. Он хотел было собраться с мыслями, потом вдруг спросил:

– Нашли мою картонку?

Фредерик, отчаявшись, возвел глаза к потолку. А Юссонэ переспросил:

– Папку с записями лекций? Да, да, успокойся!

Они еще усерднее принялись делать ему знаки. Дюсардьё понял наконец, что студенты пришли ему помочь, и замолчал, боясь невольно выдать себя. К тому же его смущало, что его возвышают до звания студента и приравнивают к молодым людям, у которых такие белые руки.

– Хочешь что-либо передать?

– Нет, благодарствуйте, некому!

– А родным?

Он опустил голову и ничего не ответил; бедняга был подкидыш. Приятели не могли понять причины его молчания.

– Есть у тебя что курить? – опять спросил Фредерик.

Тот пощупал у себя в кармане, потом извлек из него обломки трубки, прекрасной пенковой трубки с чубуком черного дерева, серебряной крышкой и мундштуком из янтаря.

Он три года трудился, чтобы довести ее до такого совершенства. Всегда держал ее в замшевом футляре, курил как можно медленнее, никогда не клал на мрамор и каждый вечер вешал у изголовья кровати. Теперь он подбрасывал осколки на ладони, из-под ногтей его сочилась кровь; он опустил голову на грудь и, раскрыв рот, остановившимся, невыразимо печальным взглядом созерцал то, что осталось от его утех.

– Дать ему сигар? А? – шепотом спросил Юссонэ и опустил руку в карман.

Фредерик уже успел положить на окошечко полный портсигар.

– Бери! И до свидания! Не унывай!

Дюсардь схватил протянутые ему руки. Он сжимал их, голос его прерывался от слез.

– Как!.. Это мне?.. Мне?

Приятели, чтобы избежать его благодарности, удалились и вместе пошли завтракать в кафе «Табуре», против Люксембургского сада.

Разрезая бифштекс, Юссонэ сообщил своему спутнику, что он сотрудничает в журналах мод и сочиняет рекламы для «Художественной промышленности».

– У Жака Арну? – спросил Фредерик.

– Вы его знаете?

– Да... То есть нет... То есть я видал его, познакомился с ним.

Он небрежно спросил Юссонэ, встречается ли тот с его женой.

– Иногда, – отвечал сотрапезник.

Фредерик не решился продолжать расспросы; новый приятель сразу занял в его жизни огромное место; когда позавтракали, Фредерик заплатил по счету, что не вызвало возражения со стороны Юссонэ.

Симпатия была взаимной; они обменялись адресами, и Юссонэ дружески пригласил его пройтись с ним до улицы Флерюс.

Они находились в саду, когда сотрудник Арну, задержав дыхание, вдруг состроил отчаянную гримасу и закричал петухом. И все петухи по соседству ответили ему протяжным «кука-реку».

– Это условный знак, – сказал Юссонэ.

Они остановились около театра Бобино, перед домом, к которому вел узкий проход. На чердаке в окошечке, между настурцией и душистым горошком, показалась молодая женщина, простоволосая, в корсете, и оперлась на водосточный желоб.

– Здравствуй, ангел мой, здравствуй, детка! – Юссонэ посылал ей воздушные поцелуи.

Он ногой толкнул калитку и скрылся.

Фредерик ждал его целую неделю. Он не решался идти к Юссонэ сам, чтобы не подать вида, будто ему не терпится получить ответное приглашение на завтрак; зато он исходил весь Латинский квартал в надежде встретиться с ним. Как-то вечером он столкнулся с Юссонэ и привел его к себе в комнату на набережной Наполеона.

Беседа была продолжительной, они разговорились по душам. Юссонэ мечтал о театральной славе и театральных доходах. Он участвовал в сочинении водевилей, которых никто не ставил, «имел массу планов», придумывал куплеты, некоторые из них пропел. Потом, заметив на этажерке книгу Гюго и томик Ламартина, разразился сарказмами по поводу романтической школы. У этих поэтов нет ни здравого смысла, ни стиля, да и не французы они – вот что главное! Он хвалился знанием языка и к самым красивым оборотам придирался с той ворчливой строгостью, с той академичностью вкуса, какой отличаются люди легкомысленные, когда они рассуждают о высоком искусстве.

Фредерик был оскорблен тем, что Юссонэ не разделяет его пристрастий; ему хотелось тут же порвать знакомство. Но почему бы не рискнуть и не заговорить о том, от чего зависит его счастье? Он спросил литературного юнца, не может ли тот ввести его к Арну.

Это не представляло никаких затруднений, и они условились встретиться на следующий день.

Юссонэ не пришел в назначенное время; затем обманул еще три раза. Явился он однажды в субботу, около четырех часов. Но, пользуясь тем, что был нанят экипаж, он сперва велел остановиться у Французского театра, где должен был получить билет в ложу, заехал к портному, к белошвейке, писал в швейцарских записки. Наконец они прибыли на бульвар Монмартр. Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Арну узнал его по отражению в зеркале, стоявшем против конторки, и, продолжая писать, протянул ему через плечо руку.

В тесной комнате с одним окном во двор столпилось человек пять-шесть; у задней стены в алькове, между двумя портьерами коричневого штофа, был диван, обитый такой же материей. На камине, заваленном всякими бумагами, стояла бронзовая Венера, а по сторонам ее, в полной симметрии, – два канделябра с розовыми свечами. Направо, у этажерки с папками, сидел в кресле человек, так и не снявший шляпы, и читал газету; стены сплошь были увешаны эстампами и картинами, ценными гравюрами или эскизами современных мастеров, с надписями, в которых выражалась самая искренняя приязнь к Жаку Арну.

– Как поживаете? – спросил он, обернувшись к Фредерику. И, прежде чем тот успел ответить, шепотом спросил Юссонэ: – Как зовут вашего приятеля? – Потом – опять вслух: – Возьмите сигару там, на этажерке, в коробке.

«Художественная промышленность», находившаяся в центре Парижа, была удобным местом встреч, нейтральной территорией, где запросто сходились соперники. В тот день здесь можно было увидеть Антенора Брева, портретиста королей, Жюля Бюрё, который своими рисунками популяризировал алжирские войны, карикатуриста Сомбаз, скульптора Вурда, кое-кого еще; и никто из них не соответствовал представлениям, сложившимся у студента. Манеры у них были простые, речи – вольные. Мистик Ловариас рассказал непристойный анекдот, а у создателя восточного пейзажа, известного Дитмера, под жилетом была надета вязаная фуфайка, и поехал он домой в омнибусе.

Речь шла вначале о некой Аполлонии, бывшей натурщице, которую Бюрё будто бы видел на бульваре, когда она ехала в карете цугом. Юссонэ объяснил эту метаморфозу, перечислив целый ряд ее покровителей.

– Здорово этот молодчик знает парижских девчонок! – сказал Арну.

– Если что останется после вас, ваше величество, – ответил повеса, на военный лад отдавая честь – в подражание гренадеру, который дал Наполеону выпить из своей фляги.

Потом зашел спор о нескольких полотнах, для которых служила моделью голова Аполлонии. Подверглись критике отсутствующие братья. Удивлялись высоким ценам на их произведения; все начали жаловаться, что зарабатывают недостаточно, как вдруг вошел человек среднего роста, во фраке, застегнутом на одну пуговицу; глаза у него были живые, вид полубезумный.

– Экие вы мещане! – воскликнул он. – Ну что же из того, помилуйте! Старики, создавшие шедевры, не думали о миллионах. Корреджо, Мурильо...

– А также Пелерен, – вставил Сомбаз.

Но тот, не обращая внимания на колкость, продолжал рассуждать с таким пылом, что Арну два раза принужден был повторить ему:

– Жена рассчитывает на вас в четверг. Не забудьте!

Эти слова вернули Фредерика к мысли о г-же Арну. В квартиру, наверно, проходят через комнатку за диваном? Арну надо было взять носовой платок, и он только что отворял туда дверь; у задней стены Фредерик заметил умывальник. Но вот в углу возле камина раздалось какое-то ворчание; оно исходило от субъекта, читавшего в кресле газету. Росту он был пяти футов девяти дюймов; у него были тяжелые веки, седые волосы и величавый вид; звали его Режембар.

– Что такое, гражданин? – спросил Арну.

– Новая низость правительства!

Дело шло об увольнении какого-то школьного учителя. Пелерен снова стал проводить параллель между Микеланджело и Шекспиром. Дитмер собрался уходить. Арну догнал его и вручил две ассигнации. Юссонэ счел момент благоприятным.

– Не могли бы вы дать мне аванс, дорогой патрон?..

Но Арну опять уселся и теперь разносил какого-то старца в синих очках, весьма противного на вид.

– И хороши же вы, дядюшка Исаак! Обесценены, пропали три картины. Все на меня плюют! Теперь эти картины всем известны! Что прикажете с ними делать? В Калифорнию, что ли, их отослать?.. К чертям? Замолчите!

Специальность старика заключалась в том, что он подделывал на картинах подписи старых мастеров. Арну отказался платить и грубо выпроводил его. Совсем по-иному встретил он чопорного господина в орденах, с бакенбардами и в белом галстуке.

Опершись локтем на подоконник, он долго и вкрадчиво что-то говорил ему, а потом вспыхнул:

– Поверьте, граф, для меня ничего не составляет достать посредника.

Дворянин смирился. Арну вручил ему двадцать пять луидоров, а как только тот ушел, воскликнул:

– И несносные же эти знатные господа!

– Все они дрянь! – пробормотал Режембар.

По мере того как время шло, дела у Арну становилось все больше; он раскладывал статьи, распечатывал конверты, подводил итоги; на стук молотка, раздававшийся из магазина, выходил понаблюдать за упаковкой, потом снова садился за работу и, продолжая водить по бумаге стальным пером, отвечал на шутки. В тот вечер ему предстояло обедать у своего поверенного, а на другой день ехать в Бельгию.

Собравшиеся беседовали на злободневные темы: о портрете Керубини, о полукруглом зале Академии художеств, о предстоящей выставке. Пелерен ругал Институт. Сплетни переплетались со спорами. В этой комнате с низким потолком собралось столько народу, что негде было повернуться, а мерцание розовых свечей пробивалось сквозь сигарный дым, точно солнечные лучи сквозь туман.

Дверь около дивана отворилась, вошла высокая худая женщина с движениями столь резкими, что на черном шелковом платье звякали все брелоки ее часов.

Это была та самая особа, которую Фредерик прошлым летом мельком видел в «Палере Рояль». Некоторые называли ее по имени и обменивались с ней рукопожатиями. Юссонэ вырвал наконец у Арну пятьдесят франков; часы пробили семь; все стали расходиться.

Арну предложил Пелерену подождать, а сам увел мадемуазель Ватназ в туалетную комнату.

Фредерик не слышал их слов: говорили они шепотом. Но вдруг женский голос зазвучал громче:

– Полгода как дело сделано, а я все жду!

Наступило долгое молчание, мадемуазель Ватназ вновь появилась. Арну опять пообещал ей что-то.

– Ну-ну! Посмотрим!

– Прощайте, счастливый человек! – сказала она, уходя.

Арну быстро вернулся в туалетную комнату, почернил усы, поправил подтяжки, чтобы ту же натянулись штрипки, и, моя руки, сказал:

– Мне бы надо было два панно над дверьми, по двести пятьдесят штука, в жанре Буше. Можно рассчитывать?

– Идет, – ответил, покраснев, художник.

– Хорошо! И не забывайте мою жену!

Фредерик проводил Пелерена до конца предместья Пуассоньер и попросил позволения время от времени его навещать; согласие было любезно дано.

Пелерен читал все труды по эстетике, чтобы открыть истинную теорию Прекрасного, так как был убежден, что, найдя ее, создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, слепками, моделями, гравюрами и, терзаясь, искал; он винил погоду, нервы, мастерскую, выходил на улицу, думая там обрести вдохновение, вздрагивал, будто оно уже

осенило его, потом бросал начатую картину и задумывал другую, еще более прекрасную. И вот, мучимый жаждой славы и теряя время в спорах, веря в тысячи нелепостей, в системы, в критику, в необходимость каких-то правил или какой-то реформы искусства, он дожил до пятидесяти лет и не создал ничего, кроме набросков. Неумная гордость не позволяла ему унывать, но он вечно был раздражен, вечно находился в том искусственном и вместе с тем неподдельном возбуждении, какое отличает актеров.

Когда вы входили к нему, первым делом бросались в глаза две большие картины, на которых коричневые, красные и синие мазки выделялись на фоне белого холста. Все это было покрыто линиями, начерченными мелом, которые переплетались наподобие ячеек ветхой рыболовной сети, – ничего нельзя было понять. Пелерен объяснил содержание этих двух композиций, намечая большим пальцем недостающие части. Одна картина должна была изображать «Безумие Навуходоносора», другая – «Рим, сжигаемый Нероном». Фредерик пришел от них в восхищение.

Он был в восхищении и от этюдов женщин с распущенными волосами, и от пейзажей, на которых во множестве встречались искривленные бурей стволы, но главное – от набросков пером в манере Калло, Рембрандта или Гойи; в оригинале он их не знал. Пелерен относился пренебрежительно к этим работам своей молодости; теперь он стоял за высокий стиль; он пустился в красноречивые рассуждения о Фидии и Винкельмане. Окружающие предметы усиливали впечатление от его слов: здесь можно было видеть череп на аналое, ятаганы, монашескую рясю; Фредерик примерил ее.

Если он приходил рано, то заставлял Пелерена в походной кровати, неудобной, покрытой рваным ковром: Пелерен ложился поздно – он усердно посещал театры. Прислуживала ему старуха в лохмотьях, обедал он в кухмистерской и жил без любовницы. Благодаря беспорядочным знаниям, которых он нахватался, парадоксы его были забавны. Ненависть ко всему заурядному, мещанскому проявлялась у него в сарказмах, полных великолепного лиризма, а к мастерам он чувствовал благоговение, которое почти возвышало его до них.

Но почему он никогда не говорил о г-же Арну? Ее мужа он называл то славным малым, то шарлатаном. Фредерик ждал, когда он начнет откровенничать.

Однажды, перелистывая рисунки в одной из его папок, Фредерик в портрете какой-то цыганки нашел нечто общее с мадемуазель Ватназ, а так как эта особа его интересовала, он решил спросить, как она такая.

Насколько знал Пелерен, она была прежде учительницей в провинции; теперь дает уроки и пытается писать в захудалых газетах.

Судя по ее обращению с Арну, можно было – так думалось Фредерику – счесть ее за его любовницу.

– Э, какое там! С него довольно и других!

Молодой человек, отвернувшись, чтобы скрыть краску стыда от своей гнусной догадки, развязно спросил:

– Жена отвечает ему, верно, тем же?

– Ничуть не бывало! Она порядочная женщина!

Фредерик почувствовал угрызения совести и еще усерднее стал посещать редакцию.

Большие буквы, из которых на мраморной доске над магазином складывалась фамилия Арну, казались ему особенными и полными значения, словно священные письмена. По широкому покатоу тротуару идти было легко, дверь отворялась почти сама собой, а ручка ее, гладкая на ощупь, казалось, наделена была мягкостью и чуткостью, словно живая рука, которую он сжимает в своей. Незаметно он стал приходить с такой же точностью, как Режембар.

Каждый день Режембар садился в свое кресло у камина, брал «Насьональ», уже не отрываясь от газеты и свое мнение выражал каким-нибудь восклицанием или же просто пожимал плечами. Время от времени он вытирал лоб скомканным носовым платком, который был засу-

нут у него на груди между двумя пуговицами зеленого сюртука. Он носил панталоны со складками, полусапожки и длинный галстук; по шляпе с загнутыми полями его легко было узнать в толпе.

В восемь часов утра он спускался с высот Монмартра и заходил на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар выпить белого вина. Его завтрак, за которым следовало несколько партий на бильярде, длился часов до трех. Потом он направлялся к пассажи Панорамы выпить абсента. Побывав у Арну, он заходил в «Бордоский кабачок» выпить вермута, затем, вместо того чтобы вернуться к жене домой, он нередко обедал один в маленьком кафе на площади Гайон, где заказывал «домашние блюда, что-нибудь попроще!». Напоследок он опять перебирался в какую-нибудь бильярдную и просиживал там до двенадцати, до часу ночи, до тех пор, пока не тушили газ и не запирали ставни и измученный хозяин заведения не умолял его уйти.

Не любовь к выпивке привлекала в подобные места гражданина Режембара, а давняя привычка к политическим разговорам; однако с годами пыл его угас, и он хранил угрюмое молчание. По серьезности его лица можно было подумать, что он поглощен мировыми вопросами. Но все эти глубокие мысли оставались при нем, и никто, даже друзья, не знали, занимается ли он чем-нибудь, хоть он и говорил, будто у него деловая контора.

Арну, казалось, питал к нему беспредельное уважение. Однажды он сказал Фредерику: – Он-то все знает, уж будьте покойны! Светлая голова!

В другой раз Режембар разложил на конторке бумаги, касавшиеся залежей каолина в Бретани, Арну полагался на его опытность.

Фредерик стал еще более учтив с Режембаром – настолько, что время от времени угощал своего нового знакомого абсентом и, хотя считал его глупым, нередко целые часы проводил с ним – потому только, что тот был другом Жака Арну.

Торговец картинами, которому довелось помочь кое-кому из современных художников при первых их шагах, как человек передовой, старался увеличить свои доходы, сохраняя в то же время артистические замашки. Он стремился к раскрепощению искусства, к прекрасному по дешевой цене. Все виды парижской промышленности, вырабатывающей предметы роскоши, испытали на себе его влияние, благотворное для мелочей и пагубное для всего значительного. Подлаживаясь изо всех сил к вкусу большинства, он сбивал с пути искусных художников, развращал одаренных, выжимал последние соки из слабых, выдвигал посредственных и всех держал в руках благодаря своим связям и своей газете. Всякие бездарности жаждали видеть свои картины в витрине Арну, обойщики брали у него рисунки мебели. Фредерик видел в нем и миллионера, любителя искусства, и дельца. Все же многое удивляло его – слишком уж господин Арну был ловок в торговых делах.

Так, из Германии или Италии ему присылали картину, купленную в Париже за полторы тысячи франков, и он, предъявив на нее накладную в четыре тысячи, перепродавал из любезности за три с половиной. Одна из обычных его проделок состояла в том, что он требовал от художников в придачу к купленной картине небольшую копию под тем предлогом, будто собирается сделать с нее гравюру; копию он всегда продавал, а гравюра так и не появлялась. Того, кто жаловался, что это эксплуатация, он только похлопывал по животу. Он был, впрочем, превосходный малый, не жалел сигар, говорил «ты» незнакомым людям и если начинал восторгаться каким-нибудь произведением или человеком, то умел настоять на своем, не скупился на хлопоты, на статьи, на рекламу. Он считал себя вполне честным и, чувствуя потребность излить душу, простосердечно рассказывал о своих неблагоприятных проделках.

Как-то раз, чтобы досадить собрату, который основал газету, тоже посвященную живописи, и давал в честь этого события большой званый обед, Арну попросил Фредерика написать в его присутствии, незадолго до назначенного часа, письма приглашенным, что обед отменяется.

– Это ведь не затрагивает чести, понимаете?

И молодой человек не решился отказать ему в услуге.

На другой день после этого, зайдя вместе с Юссонэ в контору Арну, Фредерик увидел, как в двери (той, что выходила на лестницу) мелькнул подол женского платья.

– Ах, простите! – воскликнул Юссонэ. – Если бы я знал, что здесь женщины...

– Да это моя жена, – сказал Арну. – Она проходила мимо и решила меня навестить.

– Как так? – спросил Фредерик.

– Ну да. И пойдет сейчас домой!

Прелесть окружающего сразу пропала. То, что было разлито здесь, как ему чудилось, теперь исчезло, или, пожалуй, всего этого никогда и не было. Он испытывал бесконечное удивление и словно боль измены.

Арну, роясь у себя в ящике, чему-то улыбался. Не над ним ли он смеется? Приказчик положил на стол кипу сырых бумаг.

– Вот и афиши! – воскликнул торговец. – Мне сегодня не скоро удастся пообедать!

Режембар взялся за шляпу.

– Как, вы уже покидаете меня?

– Семь часов! – ответил Режембар.

Фредерик последовал за ним.

На углу улицы Монмартр он обернулся, взглянул на окно второго этажа и мысленно усмехнулся, чувствуя жалость к себе, вспоминая, с какой любовью он часто смотрел на эти окна. Где же она живет? Как теперь встретиться с ней? Одиночество вновь окружило его, более глубокое, чем когда-либо!

– Пойдем, усладимся! – предложил Режембар.

– Кем это?

– Полынной.

Уступая настойчивым просьбам, Фредерик позволил затащить себя в «Бордоский кабачок». Пока его собутыльник, облокотившись на стол, разглядывал графин, Фредерик смотрел по сторонам. Но вот на тротуаре показалась фигура Пелерена; Фредерик застучал в окно, и не успел еще художник усесться, как Режембар спросил, почему его больше не видно в «Художественной промышленности».

– Лопнуть мне, если я туда пойду. Он скотина, мещанин, мерзавец, плут!

Эта брань была приятна раздосадованному Фредерику. Все же он был ею задет, так как ему казалось, что это слегка затрагивает и г-жу Арну.

– Что же он вам такое сделал? – спросил Режембар.

Вместо ответа Пелерен топнул ногой и громко засопел.

Он втайне занимался кое-какими делами, например, изготовлением портретов цветными карандашами и подделкой произведений великих мастеров в расчете на непросвещенного любителя, а так как эти работы его унижали, он предпочитал о них молчать. Но «гнусность Арну» обозлила его. Он излил душу.

По заказу Арну, сделанному в присутствии Фредерика, Пелерен принес ему две картины. И торговец позволил себе критиковать их! Он порицал композицию, колорит и рисунок, главное – рисунок, словом, ни за что не захотел их взять. И Пелерен, вынужденный к тому же истечением срока векселя, уступил картины еврею Исааку, а две недели спустя тот же Арну продал их за две тысячи франков какому-то испанцу.

– За две тысячи франков чистыми. Какая подлость! И ведь это не единственная, ей-богу! Не сегодня-завтра мы еще увидим его на скамье подсудимых.

– Это уж вы преувеличиваете! – робко сказал Фредерик.

– Ну вот еще! Преувеличиваю! – воскликнул художник, ударив кулаком по столу.

Грубая выходка Пелерена вернула молодому человеку самоуверенность. Конечно, можно было бы вести себя приличнее; однако, если, по мнению Арну, эти полотна...

– Плохи? Договаривайте! Да вы их видели? Понимаете вы в этом деле? А ведь я, знаете, мой миленький, дилетантов не признаю!

– Э! Да меня это не касается! – сказал Фредерик.

– С какой же стати вы защищаете его? – холодно спросил Пелерен.

Молодой человек пробормотал:

– Да... потому что я ему друг.

– Так поцелуйте его от меня! Будьте здоровы!

И художник ушел, взбешенный, ни словом, разумеется, не обмолвившись о счете.

Фредерик, защищая Арну, сам убедил себя в его правоте. В пылу красноречия он ощутил нежность к этому человеку, умному и доброму, на которого его друзья клеветают и который теперь работает один, всеми покинутый. Он не стал противиться странному желанию тотчас же увидеть его. Десять минут спустя он уже отворял дверь в магазин.

Арну с приказчиком составлял невероятных размеров афиши для выставки картин.

– Ба! Какими судьбами вы снова к нам?

Этот простой вопрос привел Фредерика в замешательство, и, не зная, что ответить, он спросил, не нашлась ли случайно его записная книжка, маленькая записная книжка, в синем кожаном переплете.

– Та, где вы храните письма женщин? – спросил Арну.

Фредерик покраснел, как девушка, и стал опровергать подобное предположение.

– Значит, там ваши стихи? – не унимался торговец.

Он перебирал образцы афиш, разложенные перед ним, рассуждал об их форме, цвете, бордюре; а Фредерика все сильнее и сильнее раздражал его озабоченный вид, главное же – его руки, двигавшиеся по афишам, большие руки, несколько пухлые, с плоскими ногтями. Наконец Арну поднялся, сказал: «Вот и готово!» – и фамильярно взял его за подбородок. Эта вольность не понравилась Фредерику, он попятился; потом он переступил порог конторы, последний раз в жизни – так он думал. Даже на г-жу Арну теперь как будто распространялась вульгарность ее мужа.

На той же неделе он получил письмо, которым Делорье сообщал, что прибудет в Париж в следующий четверг. И Фредерик с новой страстью вернулся к этой привязанности, более прочной и более возвышенной. Такой человек стоит всех женщин. Ему больше не нужны будут ни Режембар, ни Пелерен, ни Юссонэ – никто! Чтобы лучше устроить своего друга, он купил железную кровать, второе кресло, распределил на две части свое постельное белье; в четверг утром он уже одевался, чтобы ехать встречать Делорье, как вдруг у дверей раздался звонок. Вошел Арну.

– Всего два слова. Мне вчера прислали из Женевы чудесную форель; мы рассчитываем на вас, сегодня ровно в семь... Улица Шуазель, дом двадцать четыре. Не забудьте же!

Фредерик принужден был сесть. Колени у него дрожали. Он повторял: «Наконец! Наконец!» Потом он написал своему портному, шапочнику, башмачнику и отправил эти три записки с тремя рассылными. В замке повернулся ключ – появился привратник с сундуком на плечах.

Увидев Делорье, Фредерик задрожал, как застигнутая врасплох изменница-жена.

– Какая муха тебя укусила? – спросил Делорье. – Ведь ты, вероятно, получил мое письмо? Фредерик не в силах был солгать.

Он раскрыл объятия и бросился к нему на грудь.

Потом клерк поведал свою историю. Отец отказался дать отчет по опеке, вообразив, что необходимость в этом отпадает в силу десятилетней давности. Но Делорье, весьма сведущий в судопроизводстве, в конце концов выцарапал все материнское наследство, семь тысяч франков чистоганом, которые были при нем, в старом бумажнике.

– Это на черный день, про запас. Завтра же с утра надо будет подумать, куда их поместить, да и мне самому пристроиться. А сегодня – отдых от всех забот, и я весь к твоим услугам, старина!

– Да ты не стесняйся! – сказал Фредерик. – Если на сегодняшний вечер у тебя что-нибудь важное...

– Ну вот еще! Я был бы изрядным мерзавцем...

Этот случайно оброненный эпитет, как оскорбительный намек, кольнул Фредерика в самое сердце.

Привратник расставил на столе перед камином котлеты, заливное, лангусты, десерт и две бутылки бордо. Делорье был тронут таким приемом.

– Ты по-царски угощаешь меня, честное слово!

Они говорили о прошлом, о будущем и время от времени протягивали руки через стол, с нежностью глядя друг на друга. Но вот посыльный принес новую шляпу. Делорье заметил вслух, какая блестящая у нее тулья.

Потом портной самолично доставил отутюженный им фрак.

– Можно подумать, что сегодня твоя свадьба, – сказал Делорье.

Час спустя явилась третья личность и из большого черного мешка извлекла пару великолепных лакированных ботинок. Пока Фредерик их примерял, башмачник насмешливо рассматривал обувь провинциала.

– Вам, сударь, ничего не требуется?

– Нет, благодарю, – ответил клерк, пряча под стул ноги в старых башмаках со шнуровкой.

То, что Делорье подвергся такому унижению, смутило Фредерика. Он все медлил с признанием. Наконец, словно что-то вспомнив, воскликнул:

– Ах, черт возьми, я и забыл!

– Что такое?

– Сегодня я обедаю в гостях!

– У Дамбрёзов? Почему ты ни разу не писал мне о них?

Нет, он обедает не у Дамбрёзов – у Арну.

– Тебе следовало меня предупредить! – сказал Делорье. – Я приехал бы днем позже.

– Это было невозможно! – резко ответил Фредерик. – Я только сегодня утром получил приглашение.

И чтобы загладить свою вину и отвлечь внимание друга, он стал распутывать веревки, которыми был обвязан сундук, разложил в комод все вещи Делорье, хотел уступить ему свою постель, говорил, что ляжет сам в дровяном чулане. Потом, уже с четырех часов, он принялся за свой туалет.

– Времени у тебя еще достаточно! – сказал Делорье.

Наконец Фредерик оделся и ушел.

«Вот они, богачи!» – подумал Делорье. И отправился обедать на улицу Сен-Жак в знакомый ему ресторанчик.

Фредерик несколько раз останавливался на лестнице: так билось у него сердце. Одна из перчаток, слишком узкая, лопнула, а пока он засовывал разорванное место под манжету, Арну, следом за ним подымавшийся по лестнице, схватил его за руку и ввел в свою квартиру.

Передняя была в китайском вкусе – с расписным фонарем на потолке, с бамбуками по углам. Проходя через гостиную, Фредерик споткнулся о тигровую шкуру. Свечей еще не зажгли, лишь в глубине будуара горели две лампы.

Мадемуазель Марта явилась и сообщила, что мама одевается. Арну поднял ее и поцеловал; потом, желая сам выбрать в погребе несколько бутылок вина, он оставил Фредерика с девочкой.

Она очень выросла со времени поездки в Монтеро. Ее темные волосы длинными локонами спускались на голые руки. Из-под короткого платица, более пышного, чем у балерины, видны были розовые икры, и вся ее милая фигурка дышала свежестью, точно букет цветов. Compliments гостя она выслушала с видом кокетки, остановила на нем глубокий, пристальный взгляд, потом, проскользнув среди мебели, исчезла, словно кошка.

Он больше не испытывал волнения. Шары ламп, покрытые кружевной бумагой, бросали на стены, обтянутые лиловатым атласом, мягкий молочный свет. Сквозь каминную решетку, похожую на большой веер, видны были горящие уголья; рядом с часами стоял ларчик с серебряными застёжками. Тут и там разбросаны были всякие домашние вещицы: на диванчике – кукла, на спинке стула – косынка, а на рабочем столике – вязанье, в котором остриями вниз торчали две спицы из слоновой кости. В этой комнате все говорило о жизни мирной, добропорядочной и семейственной.

Арну вернулся; из-за другой портьеры показалась г-жа Арну. На нее падала тень, и сперва он различил только ее лицо. Платье на ней было черного бархата, а волосы покрывала длинная алжирская сетка красного шелка, которая, обвившись вокруг гребня, спускалась на левое плечо.

Арну представил Фредерика.

– О! Я прекрасно помню вас, – сказала она.

Потом, почти в одно и то же время, прибыли остальные гости: Дитмер, Ловариас, Бюрьё, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Лоррис, два художественных критика, товарищи Юссонэ, владелец писчебумажной фабрики и, наконец, знаменитый Пьер-Поль Мейнсиус, последний представитель высокой живописи, который с бодростью нес не только бремя славы, но и свои восемьдесят лет и огромный живот.

Когда гости направились в столовую, г-жа Арну взяла его под руку. Одно место оставалось свободным – для Пелерена. Арну его любил, хотя и эксплуатировал. К тому же он опасался беспощадно злого языка Пелерена – настолько, что, желая смягчить живописца, поместил в «Художественной промышленности» его портрет, за которым следовали гиперболические похвалы; Пелерен, более падкий на славу, чем на деньги, появился часам к восьми, совершенно запыхавшись. Фредерик вообразил, что они уже давно помирились.

Общество, кушанья – все нравилось ему. Комната была обтянута тисненой кожей, наподобие средневековой залы; против голландской этажерки находился поставец для чубуков; стаканы богемского хрусталя разной окраски, расставленные на столе среди цветов и фруктов, создавали впечатление иллюминации в саду.

Фредерику пришлось выбирать между десятью сортами горчицы. Он ел даспашьо, кэри, имбирь, корсиканских дроздов, римскую лапшу; он пил необыкновенные вина, либффрауен-мильх и токайское. Умение угостить было для Арну делом чести. Он ублажал кондукторов почтовых карет, которые поставляли ему разную снедь, и водил знакомство с поварами богатых домов, сообщавшими ему рецепты приправ.

Но больше всего занимали Фредерика разговоры. Так как его увлекала мысль о путешествиях, он наслаждался рассказами Дитмера о Востоке; его интерес ко всему театральному утолял Розенвальд, говоривший об опере, а суровая жизнь богемы показалась ему забавной сквозь призму той веселости, с которой Юссонэ красочно описал, как он провел целую зиму, питаясь одним голландским сыром. Спор о флорентийской школе, возникший между Ловариасом и Бюрьё, открыл ему новые сокровища, расширил его горизонты, и он уже едва сдерживал свой восторг, когда Пелерен воскликнул:

– Оставьте меня в покое с вашей отвратительной реальностью! Что значит – реальность? Одни видят черное, другие – голубое, большинство видят одни глупости. Нет ничего менее естественного, чем Микеланджело, и ничего более замечательного! Забота о внешнем правдоподобии обличает современное убожество, и, если так будет продолжаться, искусство превра-

тится бог весть в какую ерунду, оно станет менее поэтичным, чем религия, и менее занимательным, чем политика. Его цели – да, цели, заключающейся в том, чтобы возбуждать в нас бескорыстный восторг, – вы не достигнете пустяковыми произведениями, как бы вы ни ухищрялись, как бы ни отделяли их. Взять, например, картины Басолье: мило, нарядно, чисто и не тяжеловесно! Можно положить в карман, взять с собой в дорогу. Нотариусы платят за такие вещи по двадцать тысяч франков, а идеи тут на три су; но без идеи не может быть ничего великого! Без величия не может быть ничего прекрасного! Олимп – это гора! Самым потрясающим памятником неизменно останутся пирамиды! Лучше излишество, чем умеренность, пустыня, чем тротуар, дикарь, чем парикмахер!

Слушая эти слова, Фредерик глядел на г-жу Арну. Они проникали в его сознание, как куски металла, падающие в горнило, они сливались с его страстью и претворялись в любовь.

Он сидел через три места от нее, на той же стороне стола. Время от времени она слегка наклонялась и поворачивала голову, чтобы сказать несколько слов дочке; она улыбалась, и на щеке у нее появлялась ямочка, что придавало ее лицу выражение еще большей мягкости и доброты.

Когда были поданы ликеры, она скрылась. Разговор стал очень вольным; г-н Арну блистал; Фредерик был удивлен цинизмом всех этих мужчин. Однако их интерес к женщинам словно устанавливал между Фредериком и ими равенство, поднимавшее его в собственном мнении.

Вернувшись в гостиную, он из приличия взял один из альбомов, лежавших на столе. Крупнейшие современные мастера украсили его своими рисунками, заполнили прозой, стихами или просто-напросто оставили автографы; рядом со знаменитыми именами встречалось много неизвестных, а любопытные мысли мелькали среди потока глупостей. Все записи содержали более или менее прямые похвалы г-же Арну. Фредерику страшно было бы написать здесь хоть одну строчку.

Она пошла в будуар и принесла оттуда ларчик с серебряными застёжками, который Фредерик успел заметить на камине. Это был подарок мужа, работа времен Возрождения. Друзья хвалили покупку Арну, жена благодарила его; он почувствовал прилив нежности и при всех поцеловал ее.

Разговор продолжался, гости расположились группами, старик Мейнсиус сидел с г-жой Арну на диванчике у камина: она наклонялась к его уху, их головы соприкасались; Фредерик согласился бы стать глухим, немощным и безобразным ради громкого имени и седых волос, словом, лишь бы обладать чем-то таким, что дало бы ему право на подобную близость. Он терзался в душе, негодуя на свою молодость.

Но г-жа Арну прошла в тот угол гостиной, где находился Фредерик, спросила, знаком ли он с кем-нибудь из гостей, любит ли живопись, давно ли учится в Париже. Каждое слово, произнесенное ею, казалось ему чем-то новым, возможным только в ее устах. Он внимательно разглядывал бахрому ее головного убора, касавшуюся одним краем обнаженного плеча, и не отрывал от него взгляда, мысленно погружаясь в белизну этого женского тела; однако он не смел поднять глаза, посмотреть ей прямо в лицо.

Розенвальд прервал их беседу, попросив г-жу Арну что-нибудь спеть. Он взял несколько аккордов, она ждала; губы ее приоткрылись, и понеслись чистые, протяжные, ровные звуки.

Слов итальянской песни Фредерик не понял.

Она начиналась в торжественном ритме, напоминавшем церковное песнопение, потом музыка оживлялась, звук нарастал, переходил в звонкие раскаты, и вдруг все замирало; тогда широко и медленно возвращалась нежная начальная мелодия.

Госпожа Арну стояла у рояля, опустив руки, глядя куда-то в пространство. Порою, чтобы прочесть ноты, она щурила глаза и наклоняла голову. На низких нотах ее контральто звучало мрачно, от него веяло холодом; ее прекрасное лицо с длинными бровями склонялось к плечу;

грудь вздымалась, она раздвигала руки, томно откидывала голову, словно кто-то бесплотный целовал ее, а рулады продолжали нестись; она взяла три высокие ноты, спустилась вниз, затем снова взяла еще более высокую ноту и, после паузы, кончила ферматой.

Розенвальд остался у рояля. Он продолжал играть для себя. Время от времени кто-нибудь из гостей исчезал. В одиннадцать часов, когда уходили последние, Арну вышел вместе с Пелереном под предлогом, что проводит его. Он был из числа тех людей, которые чувствуют себя больными, если не «пройдутся» после обеда.

Госпожа Арну вышла в переднюю; Дитмер и Юссонэ поклонились ей, она протянула им руку; она протянула ее и Фредерику, и он всем существом ощутил это прикосновение.

Он простился со своими новыми друзьями; ему надо было остаться одному. Сердце его было переполнено. Почему она пожала ему руку? Был ли то необдуманый жест или знак поощрения? «Да полно, я с ума сошел!» Впрочем, не все ли равно, раз он может теперь посещать ее когда угодно, дышать тем же воздухом, что и она?

На улицах было безлюдно. Изредка проезжала тяжелая повозка, сотрясая мостовую. Дома следовали один за другим – серые фасады, закрытые окна; и он с пренебрежением думал о людях, которые спят за этими стенами, живут, не видя ее и даже не подозревая, что она существует на свете. Он утратил представление о пространстве, о месте, где находился, ничего не помнил и, стуча каблуками, ударяя тростью по ставням лавок, шел вперед, наугад, растерянный, послушный какому-то влечению. Его обдало сыростью. Он понял, что стоит на набережной.

Двумя прямыми бесконечными линиями блестели фонари, и длинные красные языки дрожали в воде, уходя в глубину. Вода была цвета аспидной доски, а небо, менее темное, как будто опиралось на сумрачные громады, возвышавшиеся по обеим сторонам Сены. Здания, которых не было видно, еще усиливали мрак. Над крышами плыл светящийся туман; все шумы сливались в неясный гул; веял легкий ветерок.

Дойдя до середины Нового моста, Фредерик остановился; сняв шляпу, расстегнув пальто, он дышал полной грудью. Он чувствовал, как из глубины его существа подымается нечто неиссякаемое, прилив нежности, расслаблявший его, как движение воды перед глазами. На церковной башне медленно пробило час, словно чей-то голос позвал его.

В этот миг им овладел тот трепет души, когда кажется, что вы переноситесь в высший мир. Необыкновенный талант – к чему, он сам еще не знал, – внезапно пробудился в нем. Он серьезно спрашивал себя, быть ли ему великим живописцем или великим поэтом, и выбрал живопись, ибо это занятие может приблизить его к г-же Арну. Так, значит, он нашел свое призвание! Цель его жизни теперь ясна, а будущее непреложно.

Войдя к себе, он запер дверь и услышал, как кто-то храпит в темном чулане рядом с его комнатой. То был его товарищ. Он позабыл о нем.

В зеркале он увидел свое лицо. Он нашел, что хорош собой, и остановился на минуту поглядеть на себя.

V

Утром на следующий день он купил ящик с красками, кисти, мольберт. Пелерен согласился давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе на квартиру посмотреть, не упустил ли он чего-нибудь необходимого для занятий живописью.

Делорье уже вернулся. А в кресле напротив сидел какой-то молодой человек. Клерк показал на него:

– Это он, Сенекаль! Познакомься!

Фредерику он не понравился. Лоб его казался выше благодаря тому, что волосы были подстрижены бобриком. Что-то жесткое и холодное сквозило в его серых глазах, а от длинного черного сюртука, от всей одежды так и несло педагогикой, церковными поучениями.

Сперва разговор шел о новостях дня, между прочим о «Stabat Mater»³ Россини; когда спросили мнение Сенекаля, он заявил, что никогда не бывает в театре. Пелерен открыл ящик с красками.

– Это все для тебя? – спросил клерк.

– Да, конечно!

– Ну? Вот затея!

И он наклонился к столу, за которым математик-репетитор перелистывал том Луи Блана. Он принес его с собою и теперь вполголоса читал оттуда отдельные места, меж тем как Пелерен и Фредерик вместе рассматривали палитру, шпатель, тюбики с красками; потом они заговорили об обеде у Арну.

– У торговца картинами? – спросил Сенекаль. – Хорош гусь, нечего сказать.

– А что? – отозвался Пелерен.

Сенекаль ответил:

– Человек, который выколачивает монету политическими гнусностями!

Он заговорил о знаменитой литографии, на которой изображено все королевское семейство, занятое вещами назидательными: в руках у Луи-Филиппа свод законов, у королевы – молитвенник, принцессы вышивают, герцог Немурский пристегивает саблю, г-н де Жуанвиль показывает младшим братьям географическую карту, в глубине видна двуспальная кровать. Эта картинка, носившая название «Доброе семейство», радовала буржуа, но огорчала патриотов. Пелерен раздраженным тоном, словно он был автор, ответил, что одно мнение стоит другого. Сенекаль возразил. Искусство должно иметь единственной целью нравственное совершенствование масс! Следует брать лишь такие сюжеты, которые побуждают к добродетельным поступкам, все остальные вредны.

– Все зависит от выполнения! – кричал Пелерен. – Я могу создать шедевр!

– Если так, тем хуже для вас! Никто не имеет права...

– Что?

– Да, сударь, никто не имеет права возбуждать во мне интерес к тому, что я осуждаю! К чему нам старательно сработанные безделки, из которых нельзя извлечь никакой пользы, скажем, все эти Венеры, все ваши пейзажи? Я тут не вижу ничего поучительного для народа. Лучше покажите нам его горести, заставьте нас преклоняться перед жертвами, которые он приносит! Боже мой, в сюжетах недостатка нет: ферма, мастерская...

Пелерен заикался от возмущения; ему показалось, что он нашел довод:

– Мольера вы признаете?

– Да! – сказал Сенекаль. – Я восхищаюсь им как предтечей Французской революции.

– Ах! Революция! Да где там искусство? Не было эпохи более жалкой!

³ «Скорбящей Богоматери» (лат.).

– Более великой, сударь!

Пелерен скрестил руки и взглянул на него в упор.

– Из вас, по-моему, вышел бы отличный солдат Национальной гвардии!

Противник, привыкший к спорам, отвечал:

– Я в ней не состою и ненавижу ее так же, как вы! Но подобными принципами только развращают массы! Это, впрочем, и входит в расчеты правительства; оно не было бы так сильно, если бы его не поддерживала целая свора таких же шутов, как Арну.

Художник стал на защиту торговца – мнения Сенекаля выводили его из себя. Он даже решился утверждать, что у Жака Арну поистине золотое сердце, что он предан своим друзьям, нежно любит жену.

– О! О! Если ему предложить хорошую сумму, он не откажется сделать из нее натурщицу. Фредерик побледнел.

– Наверное, он вас очень обидел, сударь?

– Меня? Нет! Я видел его однажды в кафе, с приятелем. Вот и все.

Сенекаль говорил правду. Но рекламы «Художественной промышленности» раздражали его изо дня в день. Арну был в его глазах представителем среды, которую он считал губительной для демократии. Суровый республиканец, он во всяком проявлении изящества подозревал испорченность, сам же был лишен всяких потребностей и отличался непоколебимой честностью.

Разговор уже не клеился. Художник вскоре вспомнил о назначенной встрече, репетитор – о своих учениках; когда они ушли, Делорье после долгого молчания стал расспрашивать друга об Арну.

– Со временем представишь меня, старина, хорошо?

– Конечно, – сказал Фредерик.

Потом они стали думать, как им устроиться. Делорье без труда получил место второго клерка у адвоката, записался на юридический факультет, купил необходимые книги, и жизнь, о которой они мечтали, началась.

Она была прекрасна благодаря очарованию молодости. Делорье о деньгах не заговаривал, Фредерик о них тоже не упоминал. Он производил все расходы, убирал в шкафу, занимался хозяйством; но если надо было отчитать привратника, за это брался клерк, играя, как в коллеже, роль покровителя и старшего.

В течение дня они не виделись и встречались только вечером. Каждый садился на свое место у камина и принимался за работу. Но вскоре они ее бросали. И не было конца излишням, приступам беспричинной веселости, а порою случались и ссоры – из-за накопившей лампы или затерянной книги, минутные вспышки гнева, разрешавшиеся смехом.

Дверь в дровяной чулан оставалась открытой, и, лежа в постелях, они продолжали болтать.

Утром они без сюртуков расхаживали по балкону; вставало солнце, над рекой зыбился легкий туман, с цветочного рынка, расположенного поблизости, долетали визгливые крики, дымок от их трубок клубился в чистом воздухе, освежавшем их заспанные глаза; вдыхая его, они чувствовали веяние необъятных надежд, разлитых повсюду.

По воскресеньям, если не было дождя, они вместе выходили из дома и, взявшись под руку, бродили по улицам. Очень часто у них возникала одна и та же мысль, иногда, разговаривая, они ничего не видели вокруг себя. Делорье стремился к богатству как к средству властвовать над людьми. Ему хотелось бы приводить в движение как можно больше народа, делать побольше шума, иметь в своем распоряжении трех секретарей и раз в неделю давать большой политический обед. Фредерик обставлял себе дворец в мавританском вкусе, где он мог бы всю жизнь лежать на диванах, обитых турецкой тканью, под журчание водных струй и где ему при-

служивали бы негры-пажи; и все эти предметы мечтаний приобретали в конце концов такую осязательность, что он приходил потом в отчаяние, как будто утратил их.

– К чему строить воздушные замки, – говорил он, – если у нас никогда ничего этого не будет?

– Как знать! – отвечал Делорье.

Несмотря на свои демократические взгляды, он советовал Фредерику завязать знакомство с Дамбрёзами. Тот ссылался на свои неудачные попытки.

– Да полно. Зайди еще! Тебя пригласят.

В середине марта они, в числе других довольно крупных счетов, получили счет из кухмистерской, где брали обеды. Фредерик, не имея всей требуемой суммы, занял сто экю у Делорье; две недели спустя он обратился к нему с подобной же просьбой, и клерк пробрал его за то, что он тратит много денег у Арну.

Он действительно не знал меры. Виды Венеции, Неаполя, Константинополя занимали в комнате три стены, тут и там висели этюды коней Альфреда де Дрё, на камине стояла скульптура Прадье, на рояле валялись номера «Художественной промышленности», на полу в углах – папки, и от всего этого становилось так тесно, что некуда было положить книгу, трудно было пошевелиться. Фредерик уверял, что все это ему нужно для занятий живописью.

Он работал у Пелерена. Но Пелерена часто не бывало дома, ибо он имел обыкновение присутствовать на всех похоронах и при всех событиях, о которых газетам полагалось давать отчет, и Фредерик целые часы проводил в мастерской совершенно один. Тишина большой комнаты, где слышно было только, как возятся мыши, свет, падавший с потолка, даже гудение в печи – все навевало на него сперва своеобразный душевный покой. Потом его глаза, оторвавшись от работы, начинали блуждать по облупившейся стене, по безделушкам на этажерке, торсам, покрытым густою пылью, как лоскутьями бархата, и, точно путник, который заблудился в лесу, где все тропинки приводят к одному и тому же месту, Фредерик то и дело мысленно возвращался к г-же Арну.

Он назначал себе день, когда пойдет к ней; поднявшись на третий этаж и уже стоя у ее дверей, он не сразу решался позвонить. Приближались шаги; дверь отворялась, и, когда он слышал слова: «Барыни нет дома», – ему как будто возвращали свободу, с сердца сваливалась тяжесть.

Все же иногда он заставлял ее. В первый раз у нее были три дамы; в другой раз – тоже под вечер – пришел учитель чистописания мадемуазель Марты. Мужчины, которых принимала у себя г-жа Арну, с визитами не являлись. Фредерик, из скромности, больше не заходил.

Но чтобы получить приглашение на обед в четверг, он каждую среду неизменно появлялся в «Художественной промышленности» и оставался там дольше всех, дольше даже, чем Режембар, до последней минуты делая вид, что рассматривает гравюру, пробегает газету. Наконец Арну спрашивал: «Вы завтра вечером свободны?» Приглашение он принимал прежде, нежели фраза была доведена до конца. Арну как будто начинал испытывать к нему привязанность. Он учил его разбираться в винах, варить жженку, готовить рагу из бекасов; Фредерик покорно следовал его советам – он любил все, что было связано с г-жой Арну: ее мебель, прислугу, дом, улицу.

Во время этих обедов Фредерик безмолвствовал; он созерцал ее. На правом виске у нее была маленькая родинка, пряди волос, гладко зачесанные на уши, были темнее, чем остальная прическа, и всегда как будто немного влажны по краям; время от времени она приглаживала их двумя пальцами. Он изучил форму каждого ее ногтя, наслаждался шелестом ее шелкового платья, когда она проходила в дверь, украдкой вдыхал аромат ее носового платка; ее гребень, перчатки, кольца были для него вещами особенными, значительными, как произведения искусства, почти живыми, как человеческие существа, все они волновали его сердце и усиливали страсть.

У него не хватало выдержки скрыть ее от Делорье. Когда Фредерик возвращался от г-жи Арну, он как бы нечаянно будил друга, лишь бы поговорить о ней.

Делорье, спавший в дровяном чулане около умывальника, долго зевал. Фредерик садился на постель у него в ногах. Сперва он рассказывал об обеде, потом о множестве незначительных мелочей, в которых видел знаки пренебрежения или расположения к нему. Однажды, например, она не пошла с ним под руку, предпочла идти с Дитмером, и Фредерик был в отчаянии.

– Вот вздор!

А как-то раз она его назвала своим «другом».

– Если так, будь смелей!

– Да я не решаюсь, – говорил Фредерик.

– Ну тогда не думай о ней! Спокойной ночи!

Делорье поворачивался к стене и засыпал. Он не понимал этой любви, в которой видел последнюю юношескую слабость своего друга; а так как их близость уже, очевидно, его не удовлетворяла, ему пришла в голову мысль собирать раз в неделю общих друзей.

Друзья приходили по субботам часов около девяти.

Все три тиковые занавески бывали аккуратно задернуты; лампа и четыре свечи зажжены; посреди стола ставился картуз с табаком и трубками, а вокруг него – бутылки пива, чайник, графин с ромом и печенье. Спорили о бессмертии души, сравнивали достоинства своих профессоров.

Однажды Юссонэ привел на вечер высокого молодого человека, одетого в сюртук с чересчур короткими рукавами и, видимо, стеснявшегося. Это был тот парень, которого они в прошлом году пытались выволочь из полиции.

Так как он не мог возвратить картонку с кружевами, потерянную во время свалки, хозяин обвинил его в воровстве и грозил судом; теперь он служил приказчиком в транспортной конторе. Юссонэ встретился с ним утром на улице и привел с собой, так как Дюсардьё из благодарности захотел повидать и «другого».

Он протянул Фредерику портсигар, еще полный, ибо с благоговением берег его, надеясь вернуть. Молодые люди пригласили его заходить. Он стал у них бывать.

Все чувствовали друг к другу приязнь. Их ненависть к правительству была возведена в степень неоспоримого догмата. Один только Мартинон пробовал защищать Луи-Филиппа. Против него пускали в ход все избитые доводы, примелькавшиеся в газетах: устройство укреплений вокруг Парижа, сентябрьские законы, Притчарда, лорда Гизо, – так что Мартинон умолкал, опасаясь кого-нибудь задеть. В коллеже он за семь лет ни разу не подвергся наказанию, а теперь на юридическом факультете умел нравиться профессорам. Обыкновенно он ходил в широком коричневом сюртуке, носил резиновые калоши; но как-то вечером явился одетый прямо женихом: на нем был бархатный жилет, белый галстук, золотая цепочка.

Удивление возросло, когда стало известно, что он от г-на Дамбрёза. Промышленник действительно купил на днях у отца Мартинона крупную партию леса; старик представил ему сына, и Дамбрёз пригласил обоих к обеду.

– Вдоволь ли было трюфелей? – спросил Делорье. – Удалось ли тебе обнять его супругу где-нибудь в дверях *sicut decet*?⁴

Тут разговор коснулся женщин. Пелерен не допускал, что могут быть красивые женщины (он предпочитал тигриц); вообще самка человека – существо низшее в эстетической иерархии.

– То, что пленяет вас в ней, как раз и снижает ее идеальный образ; я имею в виду волосы, грудь...

– Однако, – возразил Фредерик, – длинные черные волосы, большие черные глаза...

⁴ Как приличествует (*лат.*).

– Знаем, знаем! – воскликнул Юссонэ. – Довольно с нас испанок среди полянок! Античность? Слуга покорный! Ведь, по правде сказать, какая-нибудь лоретка много занятнее Венеры Милосской! Будем же галлами, черт возьми! Будем жить, коли сумеем, как в дни Регентства!

Струись, вино; вы, девы, улыбайтесь!

От брюнетки поспешим к блондинке! Согласны, дядюшка Дюсардь?

Дюсардь не отвечал. Все пристали к нему, чтобы узнать его вкусы.

– Ну так вот, – сказал он, краснея, – я хотел бы всегда любить одну и ту же!

Это было сказано так, что на миг наступило молчание; одних изумило чистосердечие Дюсардь, а другим в его словах открылось то, о чем они, быть может, втайне мечтали сами.

Сенекаль поставил кружку пива на подоконник и догматическим тоном заявил, что проституция – тирания, а брак – безнравственность, поэтому лучше всего воздержание. Делорье смотрел на женщин как на развлечение – только и всего. Г-ну де Сизи они внушали всякого рода опасения.

Ему, воспитанному под наблюдением благочестивой бабушки, общество этих молодых людей представлялось заманчивым, как притон, и назидательным, как Сорбонна. На поучения ему не скупились, и он проявлял величайшее усердие, вплоть до того, что пробовал курить, невзирая на тошноту, всякий раз мучившую его потом.

Фредерик был к нему очень внимателен. Он восторгался оттенками его галстуков, мехом на пальто и в особенности ботинками, тонкими, как перчатки, вызывающе изящными и блестящими; на улице его всегда ждал экипаж.

Однажды после отъезда г-на де Сизи – в тот вечер шел снег – Сенекаль пожалел его кучера. Потом направил свое красноречие против желтых перчаток, против Жокей-клуба. Любого рабочего он ставит выше этих господ.

– Я-то по крайней мере тружусь, я беден!

– Оно и видно, – сказал наконец Фредерик, потеряв терпение.

Репетитор затаил на него злобу за эти слова.

Но, услышав как-то от Режембара, что он немного знает Сенекаля, Фредерик захотел оказать любезность приятелю Арну и пригласил его бывать у них по субботам. Встреча обоим патриотам была приятна.

Впрочем, они отличались друг от друга.

Сенекаль, у которого был заостренный череп, признавал только системы. Режембар, напротив, не видел ничего, кроме фактов. Его беспокоил главным образом вопрос о рейнской границе. Он утверждал, что знает толк в артиллерийском деле, и одевался у портного Политехнической школы.

Когда в первое посещение Режембара угостили пирожными, он с презрением пожал плечами и сказал, что сласти годятся лишь для женщин; в следующие разы он оказался не более учтивым. Как только собеседники затрагивали предметы возвышенные, он бормотал: «О! Только без утопий! Без фантазий!» В области искусства (хоть он и посещал мастерские художников, где иногда, из любезности, давал урок фехтования) взгляды его не отличались глубиной. Он сравнивал стиль г-на Мараста со стилем Вольтера, г-жу де Сталь с мадемуазель Ватназ – только потому, что последняя написала «весьма смелую» оду в честь Польши. Режембар раздражал всех, и в особенности Делорье, ибо он, Гражданин, был своим человеком у Арну. А клерк жаждал попасть к ним в дом, надеясь завязать там полезные знакомства. «Когда же ты поведешь меня к ним?» – спрашивал он Фредерика. Но Арну то был занят, то собирался куда-нибудь ехать; потом оказывалось, что вообще ничего не стоит затевать, так как скоро обеды прекратятся.

Если бы ради друга надо было рискнуть жизнью, Фредерик не отступил бы. Но он стремился выставить себя в выгодном свете у Арну, следил за своими словами, манерами, костю-

мами, надевая безукоризненные перчатки даже для посещения «Художественной промышленности», – и боялся, как бы Делорье, в своем старом фраке, со своими судейскими замашками и самоуверенной речью, не произвел дурного впечатления, а это могло скомпрометировать, унижить и его самого в глазах г-жи Арну. Против кого-либо другого он не стал бы возражать, но именно этот человек стеснил бы его в тысячу раз больше, чем все остальные. Клерк заметил, что он не хочет исполнить обещанное, и молчание Фредерика по этому поводу казалось ему еще большим оскорблением.

Делорье хотел бы руководить им во всем, видеть, что он развивается в согласии с идеалами их юности, и праздность Фредерика возмущала его как непослушание, как измена. К тому же Фредерик, всецело занятый мыслями о г-же Арну, часто говорил о ее муже, и Делорье придумал способ изводить его: словно маньяк-идиот, он раз сто в день повторял в конце каждой фразы фамилию Арну. На стук в дверь отвечал: «Войдите, Арну!» В ресторане он заказывал бри «а-ля Арну», а ночью, прикидываясь, что у него кошмар, будил приятеля воплем: «Арну! Арну!»

Наконец измученный Фредерик сказал жалобным тоном:

– Да оставь ты меня в покое с этим Арну!

– Ни за что! – ответил клерк.

Он всюду, он во всем, то хладный, то палящий,
Встает Арну...

– Да замолчи же! – крикнул Фредерик, сжимая кулаки. И кротко добавил: – Ты ведь знаешь, мне тяжело говорить на эту тему.

– Извини, старина, – ответил Делорье, поклонившись весьма низко, – отныне мы примем в расчет твои нервы, чувствительные, как у благородной девицы! Еще раз прости! Виноват, виноват!

Так был положен конец насмешкам.

Но три недели спустя, как-то вечером, он сказал Фредерику:

– А знаешь, я сегодня видел госпожу Арну!

– Где?

– В суде, с адвокатом Баландаром; брюнетка среднего роста – верно?

Фредерик утвердительно кивнул. Он ждал, что Делорье будет говорить о ней. При малейшем слове восхищения он излил бы всю душу, готов был бы обожать его; тот все молчал; наконец Фредерик, которому не терпелось узнать мнение друга, равнодушным тоном спросил, что он думает о ней.

Делорье считал, что она «недурна собой, впрочем, ничего особенного».

– Ты находишь? – спросил Фредерик.

Наступил август – время держать второй экзамен. По общему мнению, двух недель было достаточно, чтобы подготовиться. Фредерик не сомневался в своих силах; он проглотил первые четыре книги Процессуального кодекса, первые три – Уложения о наказаниях, несколько отрывков из Уголовного судопроизводства и часть Гражданского судопроизводства с примечаниями Понселе. Накануне экзамена Делорье заставил его взяться за повторение, которое продолжалось до утра, а чтобы воспользоваться последними минутами, он даже на улице, не переставая, спрашивал его.

Так как в одни и те же часы происходили экзамены по разным предметам, во дворе было много народа, между прочими – Юссонэ и Сизи; когда дело касалось кого-нибудь из товарищей, было принято приходить на экзамен. Фредерик облекся в традиционную черную мантию; вместе с другими тремя студентами, сопровождаемый целой толпой, он вошел в большую залу, где на окнах не было занавесок, а вдоль стен тянулись скамьи. Посередине, вокруг стола,

покрытого зеленым сукном, стояли кожаные стулья. Стол отделял студентов от господ экзаменаторов, восседавших в красных одеяниях, с горностаевой перевязью через плечо, в беретах с золотым галуном.

Фредерик был предпоследним в списке – положение скверное. Отвечая на первый вопрос – о разнице между условием и договором, он перепутал определения, но профессор, добрый человек, сказал ему: «Не смущайтесь, милостивый государь, успокойтесь!» – потом, задав два легких вопроса, на которые получил неясный ответ, перешел наконец к четвертому. Фредерик был расстроен столь неудачным началом. Из публики Делорье знаками давал ему понять, что не все еще потеряно, и второй его ответ – на вопрос из Уголовного права – оказался сносным. Но после третьего, связанного с тайным завещанием, тревога Фредерика усилилась: профессор оставался бесстрастным, тогда как Юссонэ уже готовился аплодировать, а Делорье то и дело пожимал плечами. Наконец пришла пора отвечать по судопроизводству. Дело шло о протесте со стороны третьих лиц. Профессор, неприятно удивленный тем, что ему приходится выслушивать теории, противоположные его собственным, резко спросил Фредерика:

– Это что же, милостивый государь, ваше мнение? Как же вы согласуете принцип статьи тысяча триста пятьдесят первой Гражданского кодекса с таким необыкновенным способом предъявлять иск?

У Фредерика очень болела голова: ведь он всю ночь не спал. Солнечный луч, проникая в щель жалюзи, ударял ему прямо в лицо. Стоя за стулом, он переминался с ноги на ногу и тербил усы.

– Я жду вашего ответа! – сказал человек в берете с золотым галуном. Жест Фредерика его, видимо, раздражал, и он добавил: – В усах вы его не отыщете!

Этот сарказм вызвал смех слушателей; польщенный профессор смягчился. Он задал ему еще два вопроса – о вызове в суд и об ускоренном судопроизводстве, – затем опустил голову в знак одобрения. Публичный экзамен был окончен. Фредерик вернулся в вестибюль.

Пока сторож снимал с него мантию, чтобы тотчас же надеть ее на другого, приятели окружили Фредерика и привели его в полное замешательство своими противоречивыми мнениями о результате экзамена. Этот результат вскоре был объявлен у входа в залу чьим-то звучным голосом:

– Номеру третьему... дана отсрочка!

– Срезался! – сказал Юссонэ. – Идемте!

В швейцарской им повстречался Мартинон, красный, взволнованный, со смеющимися глазами и с ореолом победы вокруг чела. Он только что благополучно сдал последний экзамен. Оставалась только диссертация. Через две недели он будет лицензиатом. Семья его знакома с министром, перед ним открывается «блестящая карьера».

– Этот все-таки тебя перегнал, – сказал Делорье.

Нет большего унижения, чем видеть глупца, преуспевающего там, где ты терпишь неудачу. Рассерженный Фредерик ответил, что ему наплевать, у него более высокие стремления. А когда Юссонэ собрался уходить, Фредерик отвел его в сторону и сказал:

– У них, разумеется, об этом ни слова!

Сохранить секрет было легко: на следующий день Арну уезжал в путешествие по Германии.

Вернувшись вечером домой, клерк нашел в своем друге странную перемену: Фредерик делал пируэты, насвистывал; а когда Делорье выразил удивление, он объявил, что не поедет к матери: на каникулах будет заниматься.

Он обрадовался, когда узнал, что Арну уезжает. Теперь он может являться туда, когда захочет, не опасаясь никаких помех. Уверенность в полной безопасности придаст ему отваги. Наконец-то он не будет вдали от *нее*, не будет разлучен с *нею*! К Парижу его приковывало нечто более крепкое, чем железная цепь, внутренний голос повелевал ему остаться.

Возникли, однако, препятствия. Он преодолел их, написав матери; прежде всего он признался в своей неудаче, вызванной изменениями в программе, – случайность, несправедливость; впрочем, все выдающиеся адвокаты (он приводил имена) проваливались на экзаменах. Но он рассчитывает снова держать их в ноябре. А так как времени терять нельзя, он в нынешнем году не поедет домой и просит, помимо денег на содержание, прислать ему еще двести пятьдесят франков – на занятия с репетитором, которые принесут ему большую пользу; все это было разукрашено сожалениями, утешениями, нежностями и уверениями в сыновней любви.

Госпожа Моро, ждавшая его на следующий день, была огорчена вдвойне. Она утаила неудачу сына и ответила ему, чтобы он «все-таки приезжал». Фредерик не уступил. Начался разлад. Тем не менее к концу недели он получил деньги на три месяца и сумму, которая предназначалась репетитору, а в действительности послужила для уплаты за светло-серые панталоны, белую фетровую шляпу и трость с золотым набалдашником.

Когда все это оказалось в его распоряжении, он подумал: «А может быть, такая затея достойна парикмахера?»

Фредериком овладели сомнения.

Чтобы решить, идти ли ему к г-же Арну, он три раза подбрасывал монету. Все три раза предзнаменование было благоприятно. Итак, то было веление судьбы. Фиакр отвез его на улицу Шуазель.

Он быстро поднялся по лестнице, потянул за шнур от звонка; звонок не зазвонил. Фредерик чувствовал, что вот-вот лишится чувств.

Он изо всех сил дернул тяжелую кисть красного шелка. Колокольчик зазвенел, потом постепенно замолк. Опять ничего не стало слышно. Фредерик испугался.

Он приложил ухо к двери: ни звука! Он заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел в передней, кроме двух тростинок на фоне обоев с узором из цветов. Он собрался уже уходить, но передумал. На этот раз он совсем тихонько постучал. Дверь отворилась, и со всклокоченными волосами, багровым лицом и недовольным видом на пороге предстал сам Арну.

– Ба! Каким ветром вас принесло? Входите!

Он ввел его, только не в будуар и не в свою комнату, а в столовую, где на столе стояла бутылка шампанского и два бокала; он отрывисто спросил:

– Вам, дорогой друг, что-нибудь нужно от меня?

– Да нет! Ничего, ничего! – пробормотал молодой человек, стараясь чем-либо объяснить свое посещение.

В конце концов Фредерик сказал, что пришел справиться о нем, так как слышал от Юссонэ, будто он в Германии.

– И не собирался туда! – ответил Арну. – Что за куриные мозги у этого молодца, все слышит наизусть!

Чтобы скрыть свое замешательство, Фредерик стал расхаживать взад и вперед по комнате. Зацепившись за ножку стула, он уронил лежавший на нем зонтик; ручка из слоновой кости разбилась.

– Боже мой! – воскликнул он. – Какая жалость, я разбил зонтик госпожи Арну!

При этих словах торговец поднял голову и как-то странно улыбнулся. Фредерик, воспользовавшись случаем, робко спросил:

– А г-жу Арну можно видеть?

Она, оказывается, была в своих родных краях, у больной матери.

Фредерик не осмелился расспрашивать, сколько продлится отсутствие хозяйки дома. Он лишь спросил, откуда она родом.

– Из Шартра. Это вас удивляет?

– Меня? Нет! Почему? Нисколько!

Теперь им решительно не о чем было говорить. Арну, свернув папиросу, расхаживал вокруг стола и отдувался. Фредерик, прислонившись к печке, рассматривал стены, шкаф, паркет, и в его памяти, вернее, перед его глазами проходили исполненные прелести картины. Наконец он ушел.

В передней на полу валялся скомканный обрывок газеты; Арну его поднял и, встав на цыпочки, засунул в звонок, чтобы продолжить, как он выразился, нарушенный послеобеденный отдых. Потом, пожимая Фредерику руку, сказал:

– Пожалуйста, предупредите привратника, что меня нет дома!

И захлопнул за ним дверь.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Неудача первой попытки лишала его надежды на успех. Наступили три месяца, полных тоски. Занятий у Фредерика не было, и безделье еще усиливало его печаль.

Он целыми часами глядел со своего балкона на реку; она текла между сероватыми набережными, почерневшими кое-где от грязи сточных труб; на берегу был плот для стирки белья, где иногда забавлялись мальчишки, купая в илистой воде пуделька. Не оборачиваясь налево, в сторону Каменного моста у собора Богоматери и трех висячих мостов, он всегда смотрел на набережную Вязов, на густые старые деревья, напоминавшие липы у пристани Монтеро. Башня Святого Иакова, Ратуша, церкви Святого Гервасия, Святого Людовика, Святого Павла возвышались напротив, среди моря крыш, а на востоке, точно огромная золотая звезда, сверкал ангел на Июльской колонне, с другого же края небосклона круглой громадой рисовался голубой купол Тюильри. В той стороне, где-то там, был дом г-жи Арну.

Фредерик возвращался в свою комнату; он ложился на диван и предавался беспорядочным мыслям – о планах работ, о том, как себя вести, о будущем, к которому он стремился. Наконец, чтобы уйти от самого себя, он выходил на улицу.

Он шел куда глаза глядят, по Латинскому кварталу, обычно столь шумному, но в эту пору пустынному, так как студенты разъехались по домам. Длинные стены учебных заведений как будто вытянулись от этого безмолвия и стали еще угрюмее; мирная повседневность давала о себе знать всякого рода звуками: птица билась в клетке, скрипел токарный станок, сапожник стучал молотком, а старьевщики, бредя посреди улицы, тщетно вопрошали взглядом каждое окно. В глубине безлюдного кафе буфетчица зевала между полными графинами; на столах читален в порядке лежали газеты; в прачечной от дуновения теплого ветерка колыхалось белье. Время от времени он останавливался перед лавкой букиниста; omnibus, проезжавший мимо у самого тротуара, заставлял его оборачиваться; добравшись до Люксембургского сада, он дальше уже не шел.

Иногда надежда развлечься влекла его к бульварам. Из темных переулков, где веяло сыростью, он попадал на большие пустынные площади, залитые солнцем, а от какого-нибудь памятника на мостовую падала черная зубчатая тень. Но вот опять начинали грохотать повозки, опять тянулись лавки, и толпа оглушала его – особенно по воскресеньям, когда от Бастилии до церкви Святой Магдалины среди пыли, среди несмолкающего шума несясь по асфальту огромный зыблущийся людской поток; его тошнило от пошлости всех этих физиономий, глупости разговоров, дурацкого самодовольства, написанного на потных лицах. Однако сознание, что он стоит выше этой толпы, умеряло скуку, вызванную ее созерцанием.

Каждый день Фредерик ходил в «Художественную промышленность», а чтобы узнать, когда вернется г-жа Арну, очень пространно расспрашивал о здоровье ее матери. Ответ Арну оставался неизменным: «Дело идет на поправку», – жена с девочкой должны приехать на будущей неделе. Чем дольше она медлила с возвращением, тем больше беспокойства проявлял Фредерик, так что Арну, тронутый столь горячим сочувствием, раз пять-шесть приглашал его обедать в ресторан.

Во время этих длительных свиданий с глазу на глаз Фредерик понял, что торговец картинами не блещет умом. Но Арну мог заметить охлаждение с его стороны, к тому же надо было хоть чем-нибудь отплатить ему за любезность.

Желая устроить все как можно лучше, Фредерик продал старьевщику за восемьдесят франков все свои новые костюмы и, прибавив к этой сумме оставшуюся у него сотню, пошел к Арну пригласить его на обед. Там оказался Режембар. Пошли все вместе в ресторан «Три провансальских брата».

Гражданин прежде всего снял сюртук и, уверенный в одобрении своих сотрапезников, составил меню. Но хотя он и отправился на кухню, чтобы самому переговорить с поваром, спустился в погреб, все закоулки которого знал, и, вызвав хозяина ресторана, «намылил ему голову», его не удовлетворили ни кушанья, ни вина, ни сервировка. При каждом новом блюде, при каждой новой марке вина он после первого же куса, первого же глотка бросал вилку или отодвигал бокал; потом, поставив локти на стол, вопил, что в Париже невозможно пообедать. Наконец, не зная, какое блюдо придумать, Режембар заказал себе «попросту» бобы на прованском масле, которые несколько умиротворили его, хотя и не вполне удались. Затем у него завязался с официантом диалог о прежних лакеях, служивших у «Провансальских братьев»: «Что случилось с Антуаном? С неким Эженом? А с коротышкой Теодором, который прислуживал всегда внизу? В ту пору еда здесь была куда более тонкая, а бургонское – такое, какого больше уж не встретишь!»

Потом речь зашла о ценах на земли в пригородах в связи с какой-то беспримысленной спекуляцией Арну. Пока что он терял на процентах. Хотя продавать землю Арну не соглашался, Режембар предложил свести его с одним человеком, и оба принялись с карандашом в руках за какие-то вычисления, продолжавшиеся до конца десерта.

Кофе пошли пить в пассаж «Сомон», в кофейню, помещавшуюся на антресолях. Фредерик, стоя, смотрел, как протекают бесконечные партии на бильярде, за которыми следовали бесчисленные кружки пива; он пробыл тут до полуночи, сам не зная зачем, из малодушия, по глупости или в смутной надежде на какую-нибудь случайность, благоприятную для его любви.

Когда же он вновь увидит ее? Фредерик приходил в отчаяние. Но однажды вечером в конце ноября Арну сказал ему:

– Знаете, вчера вернулась жена!

На следующий день, в пять часов, он уже входил к ней.

Он стал поздравлять ее с выздоровлением матери, которая была так тяжело больна.

– Да нет. Кто вам сказал?

– Арну!

У нее вырвалось негромкое «а-а», потом она прибавила, что сперва были серьезные опасения, но теперь все прошло.

Она сидела у камина в глубоком вышитом кресле. Он расположился на диване, шляпу держал на коленях; разговор был томительный; она его не поддерживала; повода заговорить о своих чувствах он не находил. А когда пожаловался, что должен изучать крючкотворство, она сказала: «Да... понимаю... процессы!» – и наклонила голову, внезапно поглощенная своими мыслями.

Он жаждал их узнать и уже не думал ни о чем ином. Наступили сумерки, сгустились тени.

Она поднялась – ей надо было куда-то идти, – потом появилась в бархатной шляпке и черной накидке, отороченной беличьим мехом. Он осмелился предложить себя в провожатые.

Совсем стемнело, погода была холодная, густой зловонный туман заволакивал фасады домов. Фредерик вдыхал его с наслаждением – ведь сквозь ватную подкладку он ощущал форму ее локтя, а ее ручка в замшевой перчатке на двух пуговицах, ее маленькая ручка, которую ему хотелось покрыть поцелуями, опиралась на его руку. Было скользко, и они шли походкой не совсем твердой; Фредерику казалось, что их обоих укачивает среди облаков ветер.

Блеск фонарей на бульварах вернул его к действительности. Случай был подходящий, надо было спешить. Он решил, что признается в любви, когда они минуют улицу Ришелье. Но почти в ту же минуту она остановилась у посудного магазина и сказала:

– Вот мы и дошли, благодарю вас. До четверга, не правда ли, как всегда?

Обеды возобновились, и чем чаще он бывал у г-жи Арну, тем большее испытывал томление.

Созерцание этой женщины изнуряло его, словно аромат слишком крепких духов. Он чувствовал, как что-то проникает в самые глубины его существа, подчиняет себе все другие его ощущения, становясь для него новой формой бытия.

Проститутки, встречавшиеся ему при свете газовых фонарей, певички, выводившие рулады, наездницы, мчавшиеся галопом, мещанки, шедшие пешком, гризетки у своих окон – все женщины напоминали ее в силу сходства или резкого контраста. Он смотрел на выставленные в лавках кашемировые шали, кружева и подвески из драгоценных камней, воображая, что они драпируют ее стан, украшают корсаж, огнями сверкают в ее черных волосах. На лотках у цветочниц цветы распускались для того, чтобы, проходя мимо, она могла купить их; в витрине башмачника атласные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, казалось, ждали ее ножек; все улицы вели к ее дому; экипажи на площадях стояли только для того, чтобы можно было скорее приехать к ней; Париж был связан с ней, и весь этот огромный многоголосый город гудел, как испанский оркестр, вокруг нее.

Когда он приходил в Ботанический сад, вид пальмы уносил его в далекие страны. Вот они путешествуют вместе на спине верблюда, в палатке на слоне, в каюте яхты среди лазурного архипелага или едут рядом на двух мулах с бубенцами, спотыкающихся в траве о разбитые колонны. Порою он останавливался в Лувре перед старинными полотнами, и так как любовь преследовала его и в былых веках, то лица на картинах он заменял образом любимой. Вот она в высоком головном уборе молится на коленях за свинцовой решеткой окна. Властительница обеих Кастилий или Фландрии, она восседает в накрахмаленных брыжах и в стянутом лифе с пышными буфами. Или спускается по огромной порфировой лестнице, окруженная сенаторами, в парчовом платье, под балдахином из страусовых перьев. А порою она представлялась его воображению в желтых шелковых шальварах, на подушках, в гареме, и все, что было прекрасного, – мерцание звезд, мелодия, ритм фразы, какое-нибудь очертание, – все это внезапно и незаметно возвращало его помыслы к ней.

Но он был уверен, что всякая попытка сделать ее своей любовницей будет напрасна.

Однажды вечером Дитмер, войдя, поцеловал ее в лоб; Ловариас сделал то же и сказал:

– Вы позволяете, не так ли? Это право друзей...

Фредерик пробормотал:

– Мне кажется, мы все здесь друзья?

– Но не все старые! – возразила она.

Это значило, что косвенно она уже отвергает его.

Но что же делать? Сказать ей, что он ее любит? Она, наверно, попросит, чтобы он оставил ее, или даже с негодованием выгонит из дома. Он же предпочитал любые мучения страшной участи больше никогда не видеть ее.

Он завидовал таланту пианистов, шрамам солдат. Он мечтал об опасной болезни, надеясь хоть таким путем привлечь ее внимание.

Одно удивляло его: он не ревновал ее к Арну; он не мог представить себе ее иначе, как одетой, настолько естественной казалась ее стыдливость, отодвигавшая ее пол в какую-то таинственную тень.

А меж тем он мечтал о счастье жить с нею, говорить ей «ты», подолгу гладить ее волосы или стоять перед ней на коленях, обняв ее стан, упиваться взглядом, в котором светится ее душа! Для этого пришлось бы побороть злой рок; а он, неспособный к действию, проклиная

Бога и обвиняя себя в малодушии, метался в плену у своих желаний, как узник в каземате. Он задыхался от тоски, не оставлявшей его. Он целыми часами сидел неподвижно или вдруг разражался слезами; однажды, когда у него не хватило сил сдержать их, Делорье спросил:

– Да что с тобою, черт возьми?

Оказывается, Фредерик страдает нервами. Делорье и не поверил бы. Увидев такие муки, он почувствовал, как в нем пробуждается былая нежность к другу, и попытался вернуть ему бодрость. Такой человек, как он, и вдруг пал духом! Что за нелепость! В юности еще куда ни шло, но позднее – это же только потеря времени.

– Не узнаю моего Фредерика! Я требую того, прежнего! Человек, еще порцию! Тот был мне по вкусу! Ну, выкури трубку, скотина! Да встряхнись же, ты приводишь меня в отчаяние!

– Правда, – сказал Фредерик, – я с ума схожу!

Клерк продолжал:

– А, старый трубадур, я ведь знаю, что тебя печалит. Сердечко? Признавайся! Ерунда! Одну потеряем – четырех найдем! За добродетельных дам нас утешают другие. Хочешь, я познакомлю тебя с женщинами? Стоит только сходить в «Альгамбру». (Это были публичные балы, недавно открывшиеся в конце Елисейских Полей и потерпевшие крах в следующем же сезоне, чему виной явилась роскошь, преждевременная для такого рода предприятий.) Там, говорят, весело. Съездим туда! Возьми, если хочешь, своих приятелей; я согласен даже на Режембара!

Гражданина Фредерик не пригласил. Делорье обошелся без Сенекаля. Они захватили с собой только Юссонэ, Сизи и Дюсардьё, и фиакр доставил всех пятерых к подъезду «Альгамбры».

Две галереи в мавританском стиле, параллельные одна другой, тянулись справа и слева. В глубине подымалась стена соседнего дома, а четвертая сторона (там, где был ресторан) изображала ограду монастыря с цветными стеклами, на готический лад. Над эстрадой, где играли музыканты, раскинулось нечто вроде шатра в китайском вкусе; земля была залита асфальтом, венецианские фонари, качавшиеся на столбах, казались издали венцом из разноцветных огней над толпой танцующих. Кое-где из каменной чаши, покоившейся на пьедестале, били тонкие струйки воды. Среди листвы виднелись гипсовые статуи Гебы и купидонов, еще липкие от свежей масляной краски; благодаря многочисленным аллеям, посыпанным ярко-желтым песком и тщательно расчищенным, сад казался гораздо обширнее, чем был на самом деле.

Студенты прогуливались со своими возлюбленными; важно выступали приказчики из модных лавок, щеголяя тросточками; воспитанники коллежей курили сигары; старые холостяки расчесывали гребешком свои крашенные бороды; были тут англичане, русские, приезжие из Южной Америки, три восточных человека в фесках. Лоретки, гризетки, публичные женщины пришли сюда в надежде найти покровителя, любовника, золотую монету или просто ради удовольствия потанцевать; их широкие платья, светло-зеленые, темно-вишневые и фиолетовые, проносились, развеваясь, среди кустов ракитника и сирени. Мужчины почти все были в костюмах из клетчатой материи, иные, несмотря на прохладный вечер, в белых панталонах. Зажигались газовые рожки.

Юссонэ благодаря своим связям с модными журналами и мелкими театрами знал многих женщин; он посылал им воздушные поцелуи и время от времени покидал друзей, чтобы поговорить с той или иной.

Делорье позавидовал его развязности. Он нагло пристал к высокой блондинке в нанковом платье. Она угрюмо посмотрела на него и сказала: «Нет, любезный, никакого к тебе доверия!» – и отошла от него.

Он вновь попытал счастья – теперь с толстой брюнеткой, наверное, сумасшедшей, ибо при первом же его слове она вскочила, грозя позвать полицию, если он не отстанет. Дело-

рье натянуто рассмеялся; потом, заметив маленькую женщину, которая сидела в сторонке под фонарем, пригласил ее на кадрили.

Музыканты, сидевшие на эстраде в обезьяньих позах, пиликали и трубили вовсю. Капельмейстер, стоя, автоматическим движением отбивал такт. Все сбились в кучу и веселились; развязавшиеся ленты шляпок задевали за галстуки, сапоги касались юбок, все ритмично подпрыгивали. Делорье прижимал к себе маленькую женщину и, охваченный неистовством канкана, бесновался среди танцующих, точно большая марионетка. Сизи и Дюсардье продолжали прогуливаться; молодой аристократ направлял лорнет на девиц, но, несмотря на уговоры приказчика, не смел заговорить с ними, воображая, будто у таких женщин «всегда спрятан в шкафу человек с пистолетом и он выскакивает оттуда, чтобы заставить вас подписать вексель».

Они вернулись к Фредерику. Делорье уже не танцевал, и все были заняты мыслью, как же закончить вечер; вдруг Юссонэ воскликнул:

– А! Вот маркиза д'Амаэги!

Это была бледная женщина со вздернутым носом, в митенках до локтей, с длинными черными локонами, свисавшими на щеки, точно собачьи уши. Юссонэ сказал ей:

– Надо бы устроить у тебя маленький кутеж, восточный раут. Постарайся собрать койкого из подруг для этих французских рыцарей. Ну, что тебя смущает? Может быть, ты ждешь своего идальго?

Андалузка стояла потупившись; зная отнюдь не роскошный образ жизни своего приятеля, она опасалась, как бы ей не пришлось расплачиваться за него. Но как только она заикнулась о деньгах, Сизи предложил ей пять наполеондоров, все содержимое своего кошелька; дело было решено. Но Фредерик куда-то пропал.

Ему показалось, что он узнал голос Арну; он заметил дамскую шляпку и поспешил под сень боскета, тут же невдалеке.

Мадемуазель Ватназ была наедине с Арну.

– Извините! Я вам не помешал?

– Ничуть! – ответил торговец.

Из последних слов их разговора Фредерик понял, что Арну прибежал в «Альгамбру» поговорить с мадемуазель Ватназ о неотложном деле и, по-видимому, был не совсем спокоен, так как спросил ее с тревогой в голосе:

– Вы вполне уверены?

– Вполне уверена! Вас любят! Ах, что за человек!

И она надулась, выпятив толстые губы кровавого цвета – так сильно они были накрашены. Зато у нее были чудесные глаза, карие, с золотистыми точками, умные, полные неги и чувственности. Они, словно лампы, озаряли ее желтоватое и худое лицо. Арну как будто наслаждался резкостью ее обращения. Он наклонился к ней и сказал:

– Вы так милы, поцелуйте же меня!

Она взяла его за уши и поцеловала в лоб.

В этот миг танцы прекратились, и на месте капельмейстера появился красивый молодой человек, очень полный, с белым, как воск, лицом; у него были длинные черные волосы, ниспадавшие на плечи, как у Христа, лазоревого цвета бархатный жилет, расшитый пальмовыми ветвями, вид гордый, как у павлина, и глупый, как у индюка; поклонившись публике, он запел шансонетку. В ней крестьянин описывал свое путешествие в столицу: артист пел на нижненормандском наречии, изображая пьяного, а после припева:

То-то хохот, то-то смех

Там в Париже – прямо грех! —

раздавался всякий раз топот, которым публика выражала свой восторг. Дельмас, этот мастер «выразительного пения», был слишком ловок, чтобы дать восторгу остыть. Ему поспешили вручить гитару, и он жалобно исполнил романс под названием «Брат албанки».

Слова напомнили Фредерику песню, которую на пароходе, между двумя колесными кожухами, пел арфист в лохмотьях. Он невольно обращал взгляд на подол платья своей соседки. За каждым куплетом следовала длительная пауза; шелест ветра, игравшего листвою, казался шумом волн.

Мадемуазель Ватназ, раздвинув ветви бирючины, закрывавшие эстраду, пристально смотрела на певца; ее ноздри раздувались, глаза были прищурены, и вся она как будто отдавалась чувству глубокой сосредоточенной радости.

– Превосходно! – сказал Арну. – Я понимаю, почему вы нынче вечером в «Альгамбре»! Вам, моя милая, нравится Дельмас.

Она не хотела признаваться.

– Какая же вы стыдливая!

И он указал на Фредерика.

– Может быть, из-за него? Вы не правы. Нет юноши более скромного!

Приятели, искавшие Фредерика, тоже вошли в зеленую беседку. Юссонэ их представил. Арну всем предложил сигары и угостил всю компанию шербетом.

Мадемуазель Ватназ покраснела, увидев Дюсардь. Она вскоре поднялась со своего места и протянула ему руку:

– Вы узнаете меня, господин Огюст?

– Откуда вы ее знаете? – спросил Фредерик.

– Мы вместе служили в одном магазине! – ответил он.

Сизи дергал его за рукав, они вышли; и едва они скрылись, как мадемуазель Ватназ начала восхвалять характер Дюсардь. Она даже прибавила, что «сердечность – его особый дар».

Потом завели речь о Дельмасае, который благодаря своей мимике мог рассчитывать на успех и в театре; завязался спор, в котором все смешалось: Шекспир, цензура, стиль, народ, сборы театра «Порт-Сен-Мартен», Александр Дюма, Виктор Гюго и Дюмерсан. Арну был знаком с несколькими знаменитыми актрисами; молодые люди даже наклонились, чтобы лучше слышать. Но слова его заглушал грохот музыки; как только заканчивалась полька или кадрили, все бросались к столикам, подзывали официантов, хохотали; в гуще листвы хлопали пробки от бутылок пива и шипучего лимонада; женщины кудахтали, как куры; время от времени двое мужчин затевали драку; был задержан вор.

Музыка заиграла галоп, и танцующие пары наводнили аллеи. Запыхавшиеся, с покрасневшими улыбающимися лицами, они летели вихрем, так что развевались платья и фалды сюртуков; все громче ревели тромбоны, ритм ускорялся, за средневековой монастырской оградой послышался треск, стали взвиваться ракеты; завертелись солнца; изумрудное сияние бенгальских огней на минуту осветило сад, и при последней ракете у толпы вырвался глубокий вздох.

Расходились медленно. В воздухе висело облако порохового дыма. Фредерик и Делорье шаг за шагом продвигались в толпе, как вдруг им представилось зрелище: Мартинон требовал сдачу у вешалки, где хранятся зонты, он сопровождал даму лет пятидесяти, некрасивую, великолепно одетую и принадлежавшую непонятно к какому общественному кругу.

– Этот молодчик, – сказал Делорье, – не так прост, как можно подумать. Но где же Сизи?

Дюсардь показал на кабачок, в котором они увидели потомка рыцарей за чашей пунша, в обществе розовой шляпки.

Юссонэ, куда-то пропавший минут пять тому назад, появился вновь.

На руку его опиралась девушка, вслух называвшая его «котик».

– Перестань, – говорил он ей. – Перестань! Нельзя же на людях! Лучше называй меня виконтом! Это будет изысканно, как во дни Людовика Тринадцатого и вельмож в мягких сапогах, да и мне по душе. Перед вами, друзья, моя давнишняя приятельница! Не правда ли, она мила?

Он взял ее за подбородок.

– Приветствуй этих господ! Они все сыновья пэров Франции! Я поддерживаю с ними знакомство, чтобы попасть в посланники!

– Экий вы забавник! – вздохнула мадемуазель Ватназ.

Она попросила Дюсардье проводить ее домой.

Арну посмотрел им вслед, потом обратился к Фредерику:

– Нравится вам эта Ватназ? Впрочем, вы на этот счет неоткровенны! Мне кажется, вы скрываете ваши увлечения?

Фредерик, побледнев, стал клясться, что ничего не скрывает.

– Неизвестно даже, есть ли у вас любовница, – продолжал Арну.

Фредерику хотелось назвать наудачу какое-нибудь имя. Но это могли пересказать ей. Он ответил, что в самом деле у него нет любовницы.

Торговец пожурил его за это.

– Нынче вечером вам представлялся удобный случай. Отчего вы не поступили, как другие? Все уходит с женщиной.

– Ну, а вы? – спросил Фредерик, выведенный из терпения такой настойчивостью.

– О! Я дело другое, мой милый! Я возвращаюсь к собственной жене!

Он кликнул кабриолет и уехал.

Друзья пошли пешком. Дул восточный ветер. Оба молчали. Делорье жалел, что не блеснул перед издателем журнала, а Фредерик погрузился в свою печаль. Наконец он заявил, что бал показался ему преглупым.

– А кто виноват? Если бы ты не бросил нас для своего Арну...

– Э! Что бы я ни делал, все будет бесполезно!

Но у клерка были свои теории. Чтобы чего-нибудь добиться, стоит лишь сильно пожелать.

– А между тем ты сам только что...

– Наплевать мне на баб! – сказал Делорье, сразу пресекая намек. – Стану я с ними путаться!

И он начал обличать их жеманство, их глупость, словом, не нравятся ему женщины.

– Будет тебе рисоваться! – сказал Фредерик.

Делорье замолчал. Потом вдруг предложил:

– Хочешь пари на сто франков, что я столкнусь с первой же встречной?

– Идет!

Первой им попалась навстречу отвратительная нищая, и они уже стали терять надежду, как вдруг на середине улицы Риволи увидели высокую девушку с картонкой в руке...

Делорье подошел к ней под арками. Она быстро свернула по направлению к Тюильри и вскоре вышла на площадь Карусели, оглядываясь по сторонам. Затем побежала за фиакром; Делорье нагнал ее. Теперь он шел рядом с ней, сопровождая слова выразительными жестами. Наконец она взяла его под руку, и они двинулись дальше по набережным. Они дошли до Шатле, где потратили по крайней мере минут двадцать, шагая взад и вперед по тротуару, точно два матроса на вахте. Но вот они перешли Казначейский мост, пересекли Цветочный рынок, вышли на набережную Наполеона. Фредерик вошел вслед за ними в свой подъезд. Делорье дал понять другу, что он им помешает, ему остается лишь последовать их примеру.

– Сколько у тебя в кошельке?

– Две монеты по сто су!

– Вполне достаточно! Покойной ночи!

Фредериком овладело то удивление, какое испытываешь при виде удавшейся шутки. «Он надо мной смеется, – думал Фредерик. – Что, если я подымусь?» Делорье, пожалуй, решит, что он завидует его приключению. «Как будто я сам не знаю любви, да еще во сто раз более редкостной, более благородной, более сильной». Его охватила злоба. Он очутился у подъезда г-жи Арну.

Ни одно окно в ее квартире не выходило на улицу. И все-таки он остановился, не сводил глаз с фасада, как будто мог взглядом пробиться сквозь стену. Сейчас, наверно, она почивает, безмятежная, как заснувший цветок; чудесные черные волосы покоятся на кружевах подушки, губы полуоткрыты, руку она подложила под голову.

Рядом ему померещилась голова Арну. Он тут же отошел, чтобы спастись от этого видения.

Фредерик вспомнил совет Делорье и, ужаснувшись, отправился бродить по улицам.

Едва навстречу приближался пешеход, Фредерик старался разглядеть его лицо. Порою луч света скользил у него под ногами, описывая на гладкой мостовой огромную дугу, и из темноты появлялся человек с корзиной на плече и с фонарем. Ветер сотрясал иногда железную дымовую трубу; откуда-то издали доносились звуки, они сливались с шумом в его голове, и ему чудилось, будто в воздухе смутно звучит ритурнель кадрили. Быстрая ходьба поддерживала в нем чувство опьянения; он оказался на мосту Согласия.

И тут ему вспомнился другой вечер, год тому назад, когда, в первый раз возвращаясь от нее, он вынужден был остановиться – так сильно билось его сердце, полное надежд. Все они умерли теперь!

Неслись темные облака, временами заволакивая луну. Фредерик смотрел на нее и думал о беспредельности пространств, о ничтожестве жизни, о тщете всего сущего. Наступил рассвет; зубы у него стучали; полусонный, промокший от тумана, весь в слезах, он спросил себя, почему бы не положить всему конец. Стоит сделать лишь одно движение. Голова была так тяжела, что тянула его вниз, он уже видел свой труп, плывущий по воде; Фредерик наклонился. Парапет был широк, и только от усталости Фредерик не попытался перепрыгнуть через него.

Страх овладел им. Он вернулся на бульвары и в изнеможении опустился на скамейку. Его разбудили полицейские, уверенные, что он «кутнул».

Фредерик встал и опять пошел. Он сильно проголодался, а так как все рестораны были еще закрыты, то позавтракал в кабачке на Крытом рынке. Потом, рассчитав, что еще слишком рано, он до четверти девятого бродил возле Ратуши.

Делорье давно уже отпустил свою красотку; теперь он сидел за столом посредине комнаты и писал. Часа в четыре появился г-н де Сизи.

Благодаря Дюсардьё он накануне вечером вступил в беседу с некой дамой и даже проводил ее в экипаже вместе с мужем до самого дома, где она ему назначила свидание. Он только что оттуда. Ее там даже не знают!

– Так чем же я могу вам помочь? – спросил Фредерик.

Молодой дворянин стал молоть всякий вздор; он говорил о мадемуазель Ватназ, об андалузке и обо всех прочих. Наконец, после множества отступлений, изложил цель своего визита: полагаясь на скромность приятеля, он пришел попросить его содействия в одной попытке, после которой он окончательно сможет считать себя мужчиной. Фредерик ему не отказал. Он посвятил в эту историю и Делорье, скрыв лишь то, что касалось его лично.

Клерк нашел, что «теперь он привел себя в полный порядок». Столь послушное отношение к его советам привело его в еще лучшее расположение духа.

Именно своей веселостью он и пленил с первой же встречи мадемуазель Клеманс Давиу, вышивальщицу золотом для военной обмундировки, кротчайшее в мире создание, стройное, как тростник, с большими голубыми глазами, вечно изумленными. Клерк злоупотреблял ее наивностью – вплоть до того, что уверял ее, будто награжден орденом; когда они оставались

наедине, он украшал свой сюртук красной ленточкой, но на людях от этого воздерживался, якобы потому, что не хотел унижать своего начальника. Впрочем, он держал ее на известном расстоянии, позволял себя ласкать, как какой-нибудь паша, и в шутку называл ее «дочь народа». Всякий раз она приносила ему букетик фиалок. Фредерик не хотел бы такой любви.

Все же, когда они под руку уходили обедать в отдельный кабинет к Пенсону или к Барийо, им овладевала странная тоска. Фредерик и не подозревал, какие страдания он причинял целый год Делорье, когда, собираясь по четвергам на улицу Шуазель, полировал себе щеточкой ногти!

Однажды вечером, стоя у себя на балконе и глядя им вслед, он вдали, на Аркольском мосту, заметил Юссонэ. Тот знаками стал звать его, а когда Фредерик спустился с пятого этажа, сообщил:

– Дело вот в чем: в субботу, двадцать четвертого, именины госпожи Арну.

– Как? Ведь ее зовут Мари?

– И Анжела. Да не все ли равно? Праздновать будут у них на даче, в Сен-Клу; мне поручено известить вас. В три часа у редакции вас будет ждать экипаж. Итак, решено! Простите, что побеспокоил. Но у меня столько дел!

Едва Фредерик вернулся, как привратник подал ему письмо:

«Господин и госпожа Дамбрёз просят господина Ф. Моро сделать им честь пожаловать к обеду в субботу, 24-го сего месяца. Благоволите ответить».

«Слишком поздно», – подумал он.

Тем не менее он показал письмо Делорье; тот воскликнул:

– А! Наконец-то! Но ты как будто недоволен? Почему?

Фредерик после некоторого колебания сказал, что на этот день у него еще другое приглашение.

– Сделай ты мне удовольствие – плюнь на улицу Шуазель! Брось глупости! Если ты стесняешься, я напишу за тебя.

И клерк в третьем лице написал, что приглашение принято.

Зная свет лишь сквозь призму своих ненасытных желаний, он представлял его себе как искусственное творение, действующее по математическим законам. Званный обед, встреча с влиятельным лицом, улыбка красивой женщины могли вызвать ряд поступков, вытекающих один из другого, иметь чрезвычайно важные последствия. Иные парижские салоны были в его глазах машинами, принимающими сырой материал и путем переработки придающими ему ценность во сто раз большую. Он верил в существование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные браки, заключенные путем интриг, в гениальность каторжников, в случайность, покорную сильной руке. Словом, он считал знакомство с Дамбрёзами столь полезным и проявил такое красноречие, что Фредерик уже не знал, какое принять решение.

Но раз предстоят именины г-жи Арну, он должен сделать ей подарок; он, разумеется, подумал о зонтике, так как хотел загладить свою неловкость. И вот ему попался китайский зонтик переливчатого шелка с резной ручкой из слоновой кости. Он стоил сто семьдесят пять франков, а у Фредерика не было ни одного су, жил он в кредит, в счет ожидаемых денег. Все же он непременно хотел его купить и, хоть это ему и претило, обратился к Делорье.

Делорье ответил, что у него нет денег.

– Мне нужны деньги, – сказал Фредерик, – очень нужны!

А когда Делорье еще раз извинился, он вышел из себя:

– Ты бы мог иногда!..

– Что?

– Ничего!

Клерк понял. Он взял из своих сбережений требуемую сумму и, отсчитав монету за монетой, сказал:

– Не беру расписки, потому что живу на твой счет!

Фредерик бросился ему на шею, уверяя в своей дружбе. Делорье остался холоден. На другой день он увидал на рояле зонтик.

– Ах! Вот оно что!

– Я, может быть, его отошлю, – малодушно ответил Фредерик.

Помог случай: вечером он получил письмо с траурной каймой, в котором г-жа Дамбрёз, сообщая о смерти дяди, сожалела, что вынуждена отложить удовольствие с ним познакомиться.

К двум часам Фредерик пришел в контору газеты. Вместо того чтобы подождать его и отвезти в своем экипаже, Арну уехал еще накануне: ему не терпелось подышать свежим воздухом.

Каждый год, едва появлялись первые листья, он несколько дней подряд отправлялся с самого утра за город, совершал долгие прогулки по полям, пил молоко на фермах, заигрывал с крестьянками, справлялся о видах на урожай и привозил с собою в носовом платке пучки салата. Наконец он осуществил давнишнюю свою мечту: купил дачу.

Пока Фредерик разговаривал с приказчиком, пришла мадемуазель Ватназ и была разочарована, что не застала Арну. Он, может быть, еще дня на два останется за городом. Приказчик посоветовал ей «поехать туда»; она не могла; написать письмо она боялась: вдруг оно пропадет. Фредерик предложил его передать. Она быстро написала записку и стала умолять Фредерика, чтобы он вручил ее без свидетелей.

Сорок минут спустя он уже был в Сен-Клу.

Дом находился на склоне холма, в каких-нибудь ста шагах от моста. Садовую ограду скрывали два ряда лип, к берегу реки спускалась широкая лужайка. Калитка была открыта, и Фредерик вошел.

Арну, растянувшись на траве, играл с котятками. Забава эта, видимо, поглощала его всецело. Письмо мадемуазель Ватназ нарушило его благодушное настроение.

– Черт возьми! Черт возьми! Неприятно! Она права; мне придется ехать.

Потом, засунув послание в карман, он с удовольствием показал гостю свои владения, показал все – конюшню, сарай, кухню. Гостиная была в правой части дачи, обращенной в сторону Парижа, и выходила на балкон, увитый ломоносом. Но вот над головой у них раздалась рулада: г-жа Арну, думая, что одна в доме, развлекалась пением. Она упражнялась в гаммах, трелях, арпеджио. Одни ноты словно застывали в воздухе, другие быстро скользили вниз, как струи водопада, и голос ее, проникая сквозь жалюзи, разрывал глубокую тишину и поднимался к голубому небу.

Вдруг она умолкла: пришли соседи, супруги Удри.

Потом она сама появилась на крыльце, а когда стала спускаться по ступенькам, Фредерик увидел ее ножку. Г-жа Арну была в открытых туфельках бронзового цвета с тремя поперечными переплетками, которые золотой решеткой выделялись на чулке.

Приехали гости. За исключением адвоката Лефощера, все это были завсегдатаи четвергов. Каждый принес какой-нибудь подарок: Дитмер – сирийский шарф, Розенвальд – альбом романсов, Бюрё – акварель, Сомбаз – карикатуру на самого себя, а Пелерен – рисунок углем, изображавший нечто вроде плясок смерти, отвратительную фантазию, посредственную вещь. Юссонэ решил обойтись без подношения.

Фредерик, выждав, после всех преподнес ей свой дар.

Она горячо поблагодарила его. Он сказал:

– Но... это почти что долг! Я так на себя досадовал...

– За что? – возразила она. – Не понимаю!

– К столу! – сказал хозяин и схватил Фредерика под руку; потом шепнул ему на ухо: «Уж больно вы недогадливы!»

Ничего не могло быть приятней для глаз, чем эта столовая с бледно-зелеными стенами. На одном ее конце каменная нимфа погружала кончик ноги в бассейн, имевший форму рако-

вины. В открытые окна был виден весь сад с длинной лужайкой, на краю которой возвышалась старая шотландская сосна, высохшая больше чем наполовину; клумбы здесь были разбиты неравномерно, без строгого порядка; по ту сторону реки широким полукругом лежал Булонский лес, а за ним Нейи, Севр, Медон. Прямо против калитки сада скользила по воде парусная лодка.

Говорили сперва о виде, открывавшемся отсюда, потом о пейзаже вообще; споры только начались, когда Арну приказал слуге заложить в половине десятого кабриолет. Письмо от кассира звало его в город.

– Хочешь, я поеду с тобой? – предложила г-жа Арну.

– Еще бы! – И он отвесил ей низкий поклон. – Вы же знаете, сударыня, жить без вас не могу.

Все стали поздравлять ее, что у нее такой прекрасный муж.

– Так ведь я не одна! – мягко заметила г-жа Арну, показывая на дочку.

Потом речь опять зашла о живописи, заговорили о картине Рейсдаля, за которую Арну надеялся выручить значительную сумму. Пелерен спросил, верно ли, что пресловутый Саул Матиас приезжал в прошлом месяце из Лондона и предлагал за нее двадцать три тысячи франков.

– Как нельзя более верно! – И Арну обратился к Фредерику: – Это как раз тот господин, с которым я в тот вечер был в «Альгамбре», не по своему желанию, уверяю вас; эти англичане вовсе незанимательны!

Фредерик, подозревавший, что за письмом мадемуазель Ватназ скрывается любовная история, изумился, с какой легкостью почтенный Арну нашел приличный повод, чтобы удрать в город, но при этой новой лжи, совершенно уж ненужной, он от удивления вытаращил глаза.

Торговец как ни в чем не бывало спросил:

– А как зовут того высокого молодого человека, вашего приятеля?

– Делорье, – поспешил ответить Фредерик.

И чтобы загладить вину, которую он чувствовал перед клерком, стал расхваливать его незаурядный ум.

– Неужели? На вид он не такой славный малый, как тот, другой, приказчик из транспортной конторы.

Фредерик уже проклинал Дюсардьё. Вдруг она подумает, что он водится с простонародьем.

После разговор зашел о том, как украшается столица, о новых кварталах, и старик Удри в числе крупных дельцов назвал г-на Дамбрёза.

Фредерик, пользуясь случаем привлечь к себе внимание, сказал, что знаком с ним. Но Пелерен разразился филиппикой против лавочников: торгуют ли они свечами или деньгами, разницы он в них не видит. Затем Розенвальд и Бюрьё стали рассуждать о фарфоре; Арну разговаривал с г-жой Удри о садоводстве; Сомбаз, весельчак старого закала, забавлялся тем, что подтрунивал над ее мужем; он именовал его Одри, по имени актера, потом заявил, что он, наверно, потомок Удри, рисовальщика собак, ибо на лбу у него заметна шишка четвероногих. Он даже хотел ощупать его череп, а тот не давался – из-за парика, и десерт закончился среди раскатов смеха.

После того как выпили кофе в саду под липами, покурили и несколько раз прошли по дорожкам, все общество отправилось к реке – погулять на берегу.

Остановились около рыбака, чистившего угрей в своей палатке. Мадемуазель Марта захотела на них поглядеть. Рыбак высыпал их на траву; девочка бросилась на колени, стала их ловить; она то смеялась от удовольствия, то вскрикивала от испуга. Все угри разбежались. Арну заплатил за них.

Потом ему пришло в голову, что надо бы покататься на лодке.

С одного края горизонт начинал бледнеть, а с другого по небу широкой волной разливался оранжевый свет, приобретающий красноватый оттенок у вершины холмов, которые стали совсем черными. Г-жа Арну сидела на большом камне, спиной к этому зареву пожара. Остальные бродили поблизости; Юссонэ, стоявший внизу, у самой реки, бросал в воду камешки.

Вернулся Арну – он раздобыл старую лодку и, невзирая на увещания наиболее благоразумных, усадил в нее своих гостей. Лодка стала погружаться в воду; пришлось высадиться.

В гостиной, обтянутой ситцем, уже горели свечи в хрустальных жирандолях. Старушка Удри мирно задремала в кресле, а прочие слушали г-на Лефошера, рассуждавшего о знаменитых адвокатах. Г-жа Арну стояла в одиночестве у окна; Фредерик подошел к ней.

Они говорили о том, о чем и другие. Она восхищалась ораторами; он же предпочитал славу писателя. Но ведь, наверно, испытываешь большее наслаждение, продолжала она, когда непосредственно воздействуешь на толпу, когда видишь, что ей передаются все чувства твоей души. Это не соблазняет Фредерика – он не честолюбив.

– Но почему же? – сказала она. – Немного честолюбия не мешает.

Они стояли у окна друг подле друга. Ночь расстилалась перед ними, как громадный темный покров, усеянный блесками серебра. В первый раз они говорили не о безразличных вещах. Он даже узнал, что ее привлекает и что отталкивает; г-жа Арну не переносила некоторых запахов, любила исторические книги и верила снам.

Он затронул тему любви. Потрясения, причиняемые страстью, вызывали в ней сочувствие, а гнусное лицемерие возмущало, и эта душевная прямота так гармонировала с правильными чертами ее прекрасного лица, что казалось, будто между ними существует какая-то зависимость.

Порой она улыбалась, на миг задерживая на нем свой взгляд. Тогда он чувствовал, как ее взор проникает ему в душу, подобно тем ярким солнечным лучам, которые пронизывают воду до самого дна. Он любил ее без всякой задней мысли, без надежды на взаимность, самоабвенно, и в своих немых порывах, похожих на пыл благодарности, хотел бы покрыть ее лоб градом поцелуев. В то же время некая внутренняя сила словно возвышала его над самим собой: то была жажда принести себя в жертву, потребность немедленно доказать свою преданность, тем более сильная, что он не мог ее удовлетворить.

Он не уехал вместе с другими гостями, Юссонэ тоже. Они должны были вернуться в экипаже; кабриолет уже стоял у подъезда, когда Арну спустился в сад нарвать роз. Цветы он перевязал ниткой, а так как стебли были разной длины, порывлся у себя в кармане, полном бумажек, взял первую попавшуюся, завернул букет, скрепил его толстой булавкой и с чувством преподнес жене.

– Вот, дорогая, и прости, что я не подумал о тебе!

Она вскрикнула; неумело воткнутая булавка уколола г-жу Арну, и она ушла к себе в спальню. Ее ждали с четверть часа. Наконец она снова появилась, схватила Марту и поспешно села в коляску.

– А букет? – спросил Арну.

– Нет, нет, не стоит труда!

Фредерик побежал за ним; она ему крикнула:

– Не надо мне его!

Но он быстро принес букет и сказал, что опять завернул его в бумагу, так как цветы валялись на полу. Она засунула их за кожаный фартук напротив сиденья, и экипаж тронулся.

Фредерик, сидевший рядом с ней, заметил, что она вся дрожит. Проехав мост, Арну хотел повернуть налево.

– Да нет! – крикнула она. – Ты не туда едешь! Надо направо!

Видимо, она была раздражена: все ее волновало. Наконец, когда Марта закрыла глаза, она вытащила букет и бросила его за дверцу, потом взяла Фредерика за руку, а другой рукой

сделала ему знак больше об этом не заговаривать. Она приложила к губам носовой платок и более не двигалась.

Двое их спутников, сидевшие на козлах, беседовали о типографии, о подписчиках. Арну, правивший небрежно, в Булонском лесу сбился с пути. Пришлось ехать какими-то узкими аллеями. Лошадь шла шагом; ветви деревьев задевали верх экипажа. В темноте Фредерик ничего не видел, кроме глаз г-жи Арну; Марта лежала у нее на коленях, а он поддерживал голову девочки.

– Она вам не мешает? – спросила мать.

– Нет! – ответил он.

Медленно подымались столбы пыли; экипаж проезжал через Отейль; все дома были заперты; то тут, то там фонарь освещал угол стены, потом опять въезжали в темноту. Вдруг Фредерик заметил, что г-жа Арну плачет.

Что это, раскаяние? Какое-то желание? Ее печаль, причины которой он не знал, тревожила его, словно нечто касавшееся его самого. Теперь между ними возникла новая связь, своего рода сообщничество. И он спросил ее так ласково, как только мог:

– Вам не по себе?

– Да, немного, – ответила она.

Экипаж катил, жимолость и сирень, перекинув ветки за садовые ограды, наполняли ночной воздух томным благоуханием. Ее платье с многочисленными оборками закрывало Фредерику ноги. Ему казалось, что девочка, лежавшая между ними, связывает его со всем ее существом. Он наклонился к Марте и, откинув ее красивые темные волосы, тихонько поцеловал в лоб.

– Вы добрый! – сказала г-жа Арну.

– Почему?

– Потому что любите детей.

– Не всех!

Он ничего больше не сказал, только протянул к ней левую руку и широко раскрыл ладонь, вообразив, что, может быть, она сделает то же самое и руки их встретятся. Потом ему стало совестно, и он отдернул руку.

Вскоре выехали на мостовую. Экипаж катил быстрее, газовые рожки становились все многочисленнее. Это был Париж. У здания морского министерства Юссонэ соскочил с козел. Фредерик вышел из экипажа, только когда они въехали во двор дома, потом притаился за углом улицы Шуазёль и увидел, что Арну медленно идет в сторону Бульваров.

На следующий же день Фредерик с небывалым рвением принялся за работу.

Он видел себя в зале суда зимним вечером, когда защитительная речь близится к концу, лица присяжных бледны, а взволнованная толпа так напирает на перегородки, что они трещат; он говорит уже четыре часа, подводит итог своим доказательствам, открывает новые и при каждой фразе, при каждом слове чувствует, как нож гильотины, повисший где-то там, над обвиняемым, поднимается все выше; потом он видит себя на трибуне палаты депутатов – он оратор, от красноречия которого зависит спасение целого народа; он топчет противников своими уподоблениями, уничтожает одним словом; в голосе его слышатся и громы, и музыкальные интонации; все есть у него – ирония, пафос, гнев, величие. Она тоже там, где-то в толпе, она скрывает под вуалью слезы восхищения; потом они встречаются; и ни разочарования, ни клевета, ни обиды не коснутся его, если она скажет: «Как прекрасно!» – и проведет по его лбу своими тонкими пальцами.

Эти образы, точно маяки, сияли на его жизненном горизонте. Возбужденный ум окреп, стал более гибким. До августа он заперся у себя и выдержал последний экзамен.

Делорье, который с таким трудом натаскивал его еще раз ко второму экзамену в конце декабря и к третьему – в феврале, удивлялся его рвению. Воскресли прежние надежды. Через

десять лет Фредерик должен стать депутатом, через пятнадцать – министром. Почему бы и нет? Благодаря наследству, которое он вскоре получит, можно основать газету; с этого он начнет; а там видно будет. Что касается Делорье, то он по-прежнему мечтал о кафедре на юридическом факультете и так блестяще защитил свою докторскую диссертацию, что удостоился похвалы профессоров.

Через три дня после него защитил диссертацию и Фредерик. Перед отъездом на каникулы он решил устроить пикник, которым завершились бы субботние сборища.

На пикнике он был весел. Г-жа Арну находилась теперь у своей матери в Шартре. Но скоро он встретится с ней вновь и в конце концов станет ее любовником.

Делорье, как раз в тот день допущенный к ораторским упражнениям на набережной Орсе, произнес речь, вызвавшую немало аплодисментов. Хотя обычно он был воздержан, но на этот раз напился и за десертом сказал Дюсардьё:

– Вот ты – человек честный! Когда я разбогатею, ты будешь моим управляющим.

Все были счастливы. Сизи не предполагал кончать курс. Мартинон для продолжения своей деятельности собирался в провинцию, где он будет назначен помощником прокурора; Пелерен намеревался писать большую картину на тему «Гений революции». Юссонэ на следующей неделе должен был читать директору Театра развлечений план своей пьесы и в успехе не сомневался:

– Построение драмы не вызывает спора! В страстях я знаю толк – достаточно таскался по свету, а что до остроумия, так это моя профессия!

Он сделал прыжок, стал на руки и так несколько раз прошелся вокруг стола.

Сенекаля эта мальчишеская выходка не развеселила. Из пансиона, где он служил, его прогнали за то, что он побил сына аристократа. Терпя все большую нужду, он винил в этом общественный строй, проклинал богатых; свои чувства он изливал перед Режембаром, все более разочарованным, унылым, привередливым. Гражданин занимался теперь вопросами бюджета и обвинял камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы.

Он не мог лечь спать, не заглянув в кабачок «Александр», и поэтому ушел в одиннадцать часов. Остальные разошлись позднее; прощаясь с Юссонэ, Фредерик узнал от него, что г-жа Арну должна была вернуться накануне.

Он пошел в контору дилижансов и переменил билет, чтобы ехать на день позже, и часов около шести явился к ней. Возвращение г-жи Арну, сказал привратник, откладывается на неделю. Фредерик пообедал в одиночестве, затем прогулялся по Бульварам.

Розовые облака, длинные и растрепанные, тянулись над крышами; над витринами лавок уже поднимали навесы; на уличную пыль из бочек поливальщиков брызнула вода; неожиданная свежесть смешивалась с запахами кофеен, в открытые двери которых видны были среди серебра и позолоты целые снопы цветов, отражавшиеся в высоких зеркалах. Медленно двигалась толпа. Мужчины вели разговоры, стоя группами на тротуаре; женщины проходили мимо, и в их взглядах была нега, а на лицах та матовая бледность камелий, которую вызывает усталость от сильной жары. Что-то необъятное было разлито в воздухе, окутывало дома. Никогда Париж не казался Фредерику таким прекрасным. Будущее представлялось ему бесконечной вереницей лет, полных любви.

Он остановился перед театром «Порт-Сен-Мартен», посмотрел на афишу и, так как делать ему было нечего, взял билет.

Играли какую-то старую феерию. Зрителей было мало; в слуховые окошки над райком видно было небо – маленькие синие квадратики, а кенкеты рампы тянулись сплошной цепочкой желтых огней. Сцена представляла невольничий рынок в Пекине – с колокольчиками, гонками, султаншами, остроконечными шапками, звучали каламбуры. В антракте Фредерик пошел бродить по безлюдному фойе и увидел в окно на бульваре, у подъезда, большое зеленое ландо, запряженное парой белых лошадей, с кучером в коротких штанах.

Он уже возвращался на свое место, когда в первую ложу бельэтажа вошли дама и господин; у мужа было бледное лицо, окаймленное жидкими седеющими бакенбардами, орден в петлице и тот холодный вид, который якобы присущ дипломатам.

Жена, по крайней мере лет на двадцать моложе его, ни высокая, ни маленькая, ни дурнушка, ни хорошенькая, блондинка с локонами по английской моде, в платье с гладким лифом, держала в руке широкий черный кружевной веер. Трудно было объяснить, почему люди их круга приехали в конце сезона в театр, – вернее всего, чисто случайно или от скуки при мысли о вечере, который им предстояло провести вдвоем. Дама покусывала веер, господин зевал. Фредерик не мог вспомнить, где он его видел.

Проходя по коридору в следующем антракте, он встретил супругов и неуверенно поклонился; г-н Дамбрёз, узнав его, подошел и сразу же стал извиняться за непростительную небрежность. Это был намек на многочисленные визитные карточки, которые Фредерик посылал ему по советам клерка. Однако он путал года и думал, что Фредерик еще только на втором курсе. Потом он сказал Фредерику, что завидует его отъезду в деревню. Ему самому надо бы отдохнуть, но дела удерживают его в Париже.

Госпожа Дамбрёз, опираясь на руку мужа, слегка наклонила голову; любезно-оживленное выражение ее лица не соответствовало печали, которая только что была на нем.

– Зато в Париже столько чудесных развлечений! – сказала она, как только муж замолчал. – Какая глупая пьеса! Не правда ли?

Все трое продолжали стоять, разговаривая о театре и новых пьесах.

Фредерик, привыкший к жеманству провинциальных мещанок, еще ни у одной женщины не видел такой непринужденности в обращении, той простоты, которая на самом деле есть не что иное, как изысканность, и в которой люди наивные видят проявление внезапной симпатии. Они рассчитывали видеть его у себя, как только он вернется; г-н Дамбрёз поручил передать привет дядюшке Рокку.

Фредерик, возвратясь домой, не преминул рассказать об этой встрече Делорье.

– Великолепно! – заметил клерк. – Только не дай мамаше завладеть тобою! Возвращайся сразу же!

На другой день по его приезде г-жа Моро после завтрака повела сына в сад.

Она выразила радость по поводу того, что теперь он получил звание, ибо они не так богаты, как думают люди; земля приносит мало дохода; арендаторы платят неаккуратно; она даже была вынуждена продать свой экипаж. Наконец она ознакомила его с положением дел.

Когда, овдовев, она впервые оказалась в стесненных обстоятельствах, один коварный человек, г-н Рокк, одолжил ей денег и помимо нее возобновлял и переносил сроки векселя. Вдруг он сразу потребовал все, и она пошла на его условия, за смехотворную цену уступив ему Прельскую ферму. Десять лет спустя, при крахе банка в Мелёне, погиб и ее капитал. Г-жа Моро пришла в ужас от необходимости заложить недвижимость и, стремясь в то же время сохранить прежний образ жизни, что могло оказаться полезным для ее сына, приняла услуги г-на Рокка, когда он снова явился к ней. Но теперь она с ним в расчете. Короче говоря, у них остается приблизительно десять тысяч франков годового дохода, из них на долю Фредерика – две тысячи триста – остаток от наследства отца.

– Да не может быть! – воскликнул Фредерик.

Она только кивнула в знак того, что это вполне может быть.

Но дядя-то оставит ему что-нибудь?

Это еще неизвестно!

Они молча прошли по саду. Наконец она прижала сына к груди и сказала голосом, сдвленным от слез:

– Бедный мой мальчик! Мне пришлось отказаться от стольких надежд!

Он сел на скамейку под тенью густой акации.

Ее совет – поступить клерком к адвокату Пруараму, который впоследствии передаст ему свою контору; если он хорошо поведет дела, то сможет ее перепродать и найти богатую невесту.

Фредерик уже не слушал. Он машинально смотрел поверх изгороди в соседний сад.

Там была девочка лет двенадцати, рыжеволосая, совсем одна. Из ягод рябины она сделала себе серьги, серый полотняный лиф не скрывал ее плеч, золотистых от загара, на белой юбке были пятна от варенья, а во всей фигурке, напряженной и хрупкой, чувствовалась грация хищного зверька. Присутствие незнакомца, по-видимому, удивило ее; держа в руках лейку, она вдруг застыла на месте и уставилась на него прозрачными голубовато-зелеными глазами.

– Это дочка господина Рокка, – сказала г-жа Моро. – Он недавно женился на своей служанке и узаконил ребенка.

VI

Разорен, ограблен, погублен!

Фредерик продолжал сидеть на скамейке, ошеломленный ударом. Он проклинал судьбу, ему хотелось кого-нибудь прибить; он приходил в еще большее отчаяние оттого, что чувствовал себя обиженным, обесчещенным; ведь он воображал до сих пор, что отцовское состояние будет со временем приносить тысяч пятнадцать годового дохода, и дал это понять супругам Арну. Теперь его сочтут за хвастуна, мошенника, отъявленного плута, который втерся к ним в надежде на какие-то выгоды! А г-жа Арну! Как теперь встретиться с нею?

Впрочем, это немыслимо, раз у него всего лишь три тысячи годового дохода! Ведь не может он вечно жить на пятом этаже, иметь в услужении только привратника и целый год ходить в жалких черных перчатках, побелевших на пальцах, в просаленной шляпе, в одном и том же сюртуке. Нет! Нет! Ни за что! А между тем жить без *нее* невыносимо. Правда, многие не имеют никакого состояния – Делорье в том числе, – и ему показалось малодушием, что он придает такую важность столь ничтожным обстоятельствам. Нужда, быть может, во сто крат умножит его способности. Мысль о великих людях, работающих в мансардах, окрылила его. Г-жу Арну с ее возвышенной душой подобное зрелище должно тронуть, она умилился. Пожалуй, эта катастрофа в конце концов окажется счастьем, подобно землетрясениям, благодаря которым обнаруживаются сокровища, она вызовет к жизни скрытые богатства его натуры. Но во всем мире есть только одно место, где могут их оценить, – Париж! В его представлении искусство, наука и любовь (эти три лика божества, как сказал бы Пелерен) расцветают в столице.

Вечером он объявил матери, что вернется в Париж. Г-жа Моро была удивлена и возмущена. Это безумие, нелепость. Лучше бы он послушался ее советов, то есть остался с нею, начал службу в конторе. Фредерик пожал плечами: «Полноте!» – и решил, что такое предложение для него оскорбительно.

Тогда добрая женщина прибегла к другому способу. Тихо всхлипывая, она вкрадчивым голосом стала говорить о своем одиночестве, о своей старости, о жертвах, принесенных ею. Теперь, когда она так несчастна, он ее покидает. Потом, намекая на близость своей смерти, сказала:

– Боже мой, потерпи немножко! Скоро ты будешь свободен!

Эти жалобы повторялись раз двадцать в день целых три месяца; в то же время приятности домашней жизни подкупали его; Фредерик наслаждался мягкой постелью, полотенцами, на которых не было дыр, и, обессиленный, лишенный воли, словом, побежденный страшной силой кротости, позволил отвести себя к мэтру Пруараму.

Он не выказал там ни знаний, ни усердия. До сих пор на него смотрели как на молодого человека с большими задатками, как на будущую гордость департамента. И все были разочарованы.

Первое время он говорил себе: «Надо сообщить г-же Арну», – и целую неделю обдумывал письма, полные дифирамбов, и коротенькие записки в стиле лапидарном и возвышенном. Его удерживала боязнь признаться, какое у него положение. Потом он решил, что лучше написать ее мужу. Арну знает жизнь и поймет его. Наконец, после двухнедельных колебаний, он решил: «Да что там! Мне больше не видаться с ними. Пусть забудут меня! По крайней мере, я не уроню себя в ее мнении! Она подумает, что я умер, и пожалеет обо мне... Быть может».

Так как крайние решения не стоили ему большого труда, он дал себе клятву никогда больше не возвращаться в Париж и даже не справляться о г-же Арну.

А между тем он жалел решительно обо всем, вплоть до запаха газа и грохота омнибусов. Он вспоминал каждое ее слово, тембр ее голоса, блеск глаз и, считая себя конченным человеком, не делал ничего, решительно ничего.

Он вставал очень поздно, смотрел в окно на проезжавшие мимо возы. Особенно скверно чувствовал он себя первые полгода.

Все же выдавались дни, когда его охватывала злоба на самого себя. Тогда он уходил из дому. Он шел по лугам, которые зимой наполовину затоплены разливом Сены. Их разделяют ряды тополей. То тут, то там подымается мостик. Он бродил до вечера, ступая по желтым листьям, вдыхая туман, перепрыгивая через канавы; по мере того как кровь сильнее стучала в висках, его охватывала неистовая жажда деятельности; ему хотелось стать охотником в Америке, поступить слугою к восточному паше или матросом на корабль; свою меланхолию он изливал в длинных письмах к Делорье.

Тот из кожи лез вон, лишь бы пробиться. Малодушное поведение друга и его вечные жалобы казались клерку нелепыми. Вскоре их переписка почти сошла на нет. Всю свою обстановку Фредерик подарил Делорье, который продолжал жить в его квартире. Мать время от времени заговаривала на эту тему; наконец он сознался, что подарил мебель, и мать стала бранить его. Как раз в это время ему принесли письмо.

– Что с тобой? – спросила она. – Ты весь дрожишь?

– Что со мной? Да ничего! – ответил Фредерик.

Делорье сообщал ему, что поселил у себя Сенекаля и они уже две недели живут вместе. Итак, Сенекаль пребывает сейчас среди вещей, связанных с четой Арну. Он может продать их, подвергать их критике, шутить. Фредерик почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Он ушел к себе в комнату. Ему хотелось умереть.

Мать позвала его. Ей надо было посоветоваться относительно каких-то насаждений в саду.

Этот сад, род английского парка, был разделен посредине изгородью; одна его половина принадлежала дядюшке Рокку, у которого на берегу реки был еще и огород. Соседи, находившиеся в ссоре, избегали появляться в саду в одни и те же часы. Но с тех пор как вернулся Фредерик, г-н Рокк чаще стал гулять там и не скупился на любезности. Он сочувствовал сыну г-жи Моро, которому приходится жить в маленьком городке. Однажды он ему сказал, что г-н Дамбрёз о нем спрашивал. В другой раз он стал распространяться о Шампани, по обычаю которой титул переходил к детям по женской линии.

– В ту пору вы были бы знатным господином, ведь ваша матушка урожденная де Фуван. И право, что ни говори, а имя кое-что да значит! Впрочем, – прибавил он, лукаво глядя на него, – все зависит от министра юстиции.

Эти притязания на аристократизм удивительно противоречили всему его облику. Он был мал ростом, просторный коричневый сюртук нарушал пропорции его туловища, удлиняя его. Без фуражки у него было совсем бабье лицо, нос необычайно острый; желтые волосы напоминали парик; кланялся он при встречах очень низко, а на улице держался поближе к стенам.

До пятидесяти лет он довольствовался услугами некой Катрин, родом из Лотарингии, его ровесницы; лицо у нее было изрыто оспой. Но в 1834 году он вывез из Парижа красавицу блондинку с глазами, как у овцы, и «царственной осанкой». Вскоре она стала важно разгуливать с огромными серьгами в ушах, а после рождения дочери, записанной под именем Елизаветы-Олимпии-Луизы Рокк, все стало ясно.

Катрин, снедаемая ревностью, думала, что возненавидит ребенка. Но нет, она полюбила эту девочку, окружила ее заботами, вниманием, ласками, чтобы занять место матери и восстановить против нее малютку; впрочем, это не стоило большого труда, ибо г-жа Элеонора совершенно забросила дочь, предпочитая болтать со своими поставщиками. На другой же день после свадьбы она побывала с визитом в доме супрефекта, перестала говорить служанкам «ты» и решила, считая это хорошим тоном, держать девочку в строгости. Она сама присутствовала на уроках; учитель, старый чиновник из мэрии, не знал, как ему быть. Ученица бунтовала, получала пощечины, а потом плакала на коленях у Катрин, неизменно признававшей ее правоту.

Женщины ссорились: г-н Рокк заставлял их умолкнуть. Он женился из любви к дочери и не хотел, чтобы ее мучили.

Она ходила в изодранном белом платье и кружевных панталонах, но в большие праздники ее наряжали, как принцессу, назло обывателям, которые ввиду ее незаконного рождения запрещали своим малышам водиться с ней.

Она жила одна в своем саду, качалась на качелях, гонялась за бабочками, потом вдруг останавливалась посмотреть, как жук садится на розовый куст. Должно быть, этот образ жизни и придал ее лицу смелое и в то же время мечтательное выражение. Она была такого же роста, как Марта, и Фредерик уже при второй их встрече спросил:

– Вы мне позволите поцеловать вас, мадемуазель?

Девочка подняла голову и ответила:

– Пожалуйста!

Но изгородь разделяла их.

– Надо на нее влезть, – сказал Фредерик.

– Нет, подними меня!

Он перегнулся через ограду и, схватив ее под мышки, поцеловал в обе щеки, потом таким же образом поставил на место; это повторялось несколько раз.

Непосредственная, как четырехлетний ребенок, она, едва заслышав, что идет ее друг, бросалась к нему навстречу или же, спрятавшись за дерево, таякала по-собачьи, чтобы его испугать.

Как-то раз, когда г-жи Моро не было дома, он привел ее в свою комнату. Она открыла все флаконы с духами и густо напмадила себе волосы; потом без стеснения улеглась на его кровать, но спать не собиралась.

– Я воображаю, что я твоя жена, – сказала она.

На следующий день он застал ее в слезах. Она призналась, что «оплакивает свои грехи», а когда он пытался узнать, в чем она грешна, она, потупившись, ответила:

– Не спрашивай!

Приближался день первого причастия; утром ее повели исповедоваться.

После этого таинства она не стала благоразумнее. Порою она впадала в ярость; тогда, чтобы успокоить ее, за помощью обращались к Фредерику.

Он часто уводил ее с собою на прогулку. Пока он, шагая, предавался мечтам, она собирала маки вдоль нив, а если замечала, что он грустнее, чем обычно, старалась утешить его ласковыми словами. Его сердце, не знавшее взаимной любви, отозвалось на эту детскую привязанность; он рисовал ей человечков, рассказывал разные истории и стал читать ей вслух.

Фредерик начал с «Романтических анналов» – знаменитого в ту пору собрания стихов и прозы. Потом, забыв о возрасте девочки – так он был поражен ее умом, – он прочел ей «Аталу», «Сен-Мара», «Осенние листья». Но однажды ночью (в тот вечер она слушала «Макбета» в незатейливом переводе Летурнера) она проснулась с криком «Пятно! Пятно!»; зубы у нее стучали, она дрожала и, не отрывая испуганных глаз от правой руки, терла ее и повторяла: «Все то же пятно!» Наконец пришел врач и не велел волновать ее.

Местные буржуа усмотрели в этом дурное предзнаменование для ее поведения в будущем. Пошли толки, что «сын Моро» готовит из нее актрису.

Вскоре всеобщее внимание было привлечено другим событием, а именно приездом дядюшки Бартеlemi. Г-жа Моро отвела ему собственную спальню и в своей предупредительности дошла до того, что в постные дни стала подавать скромное.

Старик оказался не очень любезным. Не было конца сравнениям между Гавром и Ножа-ном, где, по его мнению, воздух тяжелый, хлеб скверный, улицы плохо вымощены, провизия неважная, а жители города лентяи. «Что за жалкая у вас торговля!» Он осуждал своего покойного брата за сумасбродство; то ли дело он: ведь он нажил капитал, который дает двадцать

семь тысяч ливров годового дохода! К концу недели он уехал и, уже садясь в экипаж, проронил малообнадёживающие слова:

– Мне было отрадно узнать, что вы живете в достатке.

– Ничего ты не получишь! – сказала г-жа Моро, возвращаясь в комнаты.

Приехал дядюшка только по ее настояниям, и она всю неделю добивалась – слишком явно, быть может, – чтобы он открыл свои намерения. Теперь она в этом раскаивалась; она сидела в кресле, опустив голову и сжав губы. Фредерик, сидя против нее, следил за ней взглядом; оба молчали, как пять лет тому назад, когда он приехал из Монтеро. Это совпадение, невольно пришедшее ему в голову, напомнило ему о г-же Арну.

В эту минуту под окном раздалось щелканье бича; кто-то его позвал.

То был дядюшка Рокк – один в своей повозке. Он собирался провести целый день в Ла Фортель, у г-на Дамбрёза, и любезно предложил Фредерику поехать с ним.

– Со мной вам не надо приглашений, не беспокойтесь!

Фредерик охотно бы согласился. Но как объяснить свое окончательное переселение в Ножан? Не было у него и подходящего летнего костюма. Наконец, что скажет мать? Он отказался.

С тех пор сосед сделался менее дружелюбен. Луиза подрастала. Г-жа Элеонора опасно заболела, и общение прервалось, к великому удовольствию г-жи Моро, опасавшейся, что знакомство с подобными людьми повредит карьере сына.

Она мечтала купить ему место в канцелярии суда. Фредерик не особенно сопротивлялся этому намерению. Теперь он ходил с матерью к обедне, по вечерам играл с нею в империал; он привыкал к провинции, погружался в нее, и даже самая его любовь приобрела какую-то замогильную сладость, дремотное очарование. Свою скорбь он столько раз изливал в письмах, столько раз вспоминал о ней, читая книги или гуляя среди полей и все окрашивая ею, что она почти иссякла; г-жа Арну была для него теперь как бы покойницей, и он удивлялся, что не знает, где ее могила, – такой тихой и умиротворенной стала его любовь.

Однажды – это было 12 декабря 1845 года – кухарка часов в девять утра подала Фредерику письмо. Адрес был написан крупными буквами, незнакомым почерком, и Фредерик, еще сонный, неторопливо его распечатал. Наконец он прочел:

«Гаврский мировой судья, III округ.

Милостивый государь,

Ваш дядя, господин Моро, скончавшись, *ab intestat*...»⁵

Он наследник!

Фредерик вскочил с постели босиком, в одной рубашке, как будто за стеной вспыхнул пожар; он провел рукой по лицу, не веря собственным глазам, думая, не пригрезилось ли ему все это, и, желая убедиться, что не спит, распахнул окно.

Выпал снег; крыши побелели; во дворе он заметил лохань для белья, на которую наткнулся накануне вечером.

Он три раза подряд перечитал письмо. Никакого сомнения! Все состояние дяди! Двадцать семь тысяч ливров годового дохода! Бурный восторг охватил его при мысли, что он увидит г-жу Арну. Отчетливо, как в галлюцинации, он узрел себя рядом с ней, у нее в доме; он привез ей какой-то подарок, завернутый в тончайшую бумагу, а у подъезда его ждет тильбюри, нет, лучше двухместная карета! Да, черная двухместная карета, со слугою в коричневой ливрее. Он слышит, как лошадь бьет копытом, а позвякивание уздечки сливается с нежными звуками их поцелуев. Так будет каждый день, до бесконечности. Он станет принимать их у себя, в своем доме; столовая будет обита красным сафьяном, будуар желтым шелком, всюду диваны! А какие этажерки! Китайские вазы! Какие ковры! Эти образы проносились столь стремительно, что у

⁵ Не оставил завещания (*лат.*).

него закружилась голова. Тогда он вспомнил о матери и пошел к ней, не выпуская письма из рук.

Госпожа Моро пыталась сдержать свое волнение и чуть не упала в обморок. Фредерик обнял ее и поцеловал в лоб.

– Милая матушка, ты теперь снова можешь купить экипаж. Улыбнись же, не надо плакать, будь счастлива!

Через десять минут новость распространилась по всему городу до самых предместий. Пospешили явиться мэтр Бенуа, г-н Гамблен, г-н Шамбион, все друзья. Фредерик убежал от них на минуту, чтобы написать Делорье. Пришли новые гости. Всю вторую половину дня заполнили поздравления. За всем этим позабыли о жене Рокка, а между тем она была «совсем плоха».

Вечером, когда они остались вдвоем, г-жа Моро сказала сыну, что советует ему обосноваться в Труа, заняться адвокатурой. В родных краях его знают лучше, чем в другом месте, здесь он легче найдет себе богатую невесту.

– Ну, это уж слишком! – воскликнул Фредерик.

Не успело счастье прийти к нему, как его хотят отнять. Он объявил о своем твердом решении поселиться в Париже.

– А что ты будешь там делать?

– Ничего!

Госпожа Моро, удивленная таким тоном, спросила, кем же он намерен стать.

– Министром! – ответил Фредерик.

Он уверил ее, что нисколько не шутит, что он хочет пойти по дипломатической части, что к этому его побуждают и познания и склонности. Сперва он поступит в государственный совет по протекции г-на Дамбрёза.

– Разве ты с ним знаком?

– Конечно! Через господина Рокка!

– Странно, – сказала г-жа Моро.

Он пробудил в ее сердце давние честолюбивые мечты. Она отдалась им и ни о чем другом уже не заговаривала.

Фредерик – повинуйся он только своему нетерпению – уехал бы тотчас же. На другой день все места в дилижансе оказались проданы; ему пришлось терзаться до следующего дня, до семи часов вечера.

Когда они сажались обедать, раздались три протяжных удара церковного колокола; служанка, войдя в комнату, объявила, что г-жа Элеонора скончалась.

Эта смерть, в сущности, ни для кого не была горем, даже для ребенка. Девочке это со временем могло пойти лишь на пользу.

Так как дома стояли рядом, слышна была суматоха, доносились голоса; мысль о трупе, который находится так близко от них, бросала на их расставание траурную тень. Г-жа Моро раза два-три вытирала глаза, у Фредерика сжималось сердце.

Когда кончили обедать, к нему в дверях подошла Катрин. Барышня непременно хочет его видеть. Она ждет его в саду. Он вышел, перескочил через изгородь и, натываясь на деревья, направился к дому г-на Рокка. В одном из окон второго этажа горел свет, из темноты появилась тень, и голос прошептал:

– Это я.

Она показалась ему выше обыкновенного, должно быть, из-за черного платья. Не зная, с какими словами обратиться к ней, он только взял ее за руку и со вздохом сказал:

– Бедная моя Луиза!

Она ничего не ответила. Она только посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Фредерик боялся опоздать на дилижанс; вдали ему уже чудился стук колес, и он решил положить конец разговору:

– Катрин мне сообщила, что ты хочешь что-то...

– Да, верно, я хотела вам сказать...

Это «вы» удивило его; она умолкла, и он спросил:

– Ну что же?

– Да не помню. Позабыла! Правда, что вы уезжаете?

– Да, сейчас.

Она переспросила:

– Сейчас?.. Совсем?.. Мы больше не увидимся? – Ее душили рыдания. – Прощай! Прощай! Поцелуй меня!

Она порывисто обняла его.

Часть вторая

I

Когда Фредерик занял место в глубине дилижанса и дилижанс тронулся, дружно подхваченный пятеркой лошадей, им овладел пьянящий восторг. Подобно зодчему, создающему план дворца, он заранее нарисовал себе будущую жизнь в Париже. Он наполнил ее утонченностью и великолепием, вознес к горным высотам; в ней всего было в избытке, и это созерцание так глубоко захватило его, что все окружающее померкло.

Лишь когда поравнялись с сурденским косогором, он обратил внимание на местность. Проехали самое большее пять километров. Это было нестерпимо. Фредерик опустил окно, чтобы смотреть на дорогу. Несколько раз он задавал кондуктору вопрос, когда они приедут. Мало-помалу он успокоился и с открытыми глазами сидел в своем углу.

Фонарь, привешенный к козлам, освещал крупы коренников. Впереди Фредерик различал лишь гривы других лошадей, зыбившиеся, как белые волны; от их дыхания по обе стороны упряжки клубился пар; железные цепочки звякали, стекла дрожали в рамах, тяжелый экипаж мерно катился по дороге. Из мрака выступал то сарай, то одинокий постоялый двор. Порою, когда проезжали деревню, видны были отсветы печи, топившейся в пекарне; чудовищные силуэты лошадей проносились по стене дома, стоящего напротив. На станциях, пока лошадей перепрягали, ненадолго водворялась глубокая тишина. Кто-то топал по крыше экипажа, на крыльце появлялась женщина, рукой защищая свечу от ветра. Потом кондуктор вскакивал на подножку, и дилижанс снова пускался в путь.

В Мормане Фредерик услышал, как часы пробили четверть второго.

«Так, значит, сегодня, – подумал он, – уже сегодня, скоро!»

Но мало-помалу его надежды и воспоминания, Ножан, улица Шуазёль, г-жа Арну, мать – все смешалось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.